



Ernst Remarque.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА
ПОСЛЕДНИЙ АКТ



NEO-Классика

Эрих Мария Ремарк

**Земля обетованная.
Последняя остановка.
Последний акт (сборник)**

«Издательство АСТ»

1956, 1998

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Ремарк Э.

Земля обетованная. Последняя остановка. Последний акт (сборник) / Э. Ремарк — «Издательство АСТ», 1956,1998 — (NEO-Классика)

ISBN 978-5-17-109355-6

«Земля обетованная» – роман, опубликованный уже после смерти автора. Судьба немецких эмигрантов в Америке. Они бежали от фашизма, используя все возможные и невозможные способы и средства. Бежали к последнему бастиону свободы и независимости. Однако Америка почему-то не спешит встретить их восторгами. Беглецов ждет... благопристойное и дружелюбное равнодушие обитателей страны, давно забывшей, что такое война и тоталитарный режим. И каждому из эмигрантов предстоит заново строить жизнь там, где им предлагают только одно – самим о себе позаботиться. В издание также включены единственная пьеса Ремарка «Последняя остановка», положенная в основу нескольких телефестивалей, и киносценарий «Последний акт».

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-109355-6

© Ремарк Э., 1956,1998
© Издательство АСТ, 1956,1998

Содержание

Земля обетованная	6
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Эрих Ремарк

Земля обетованная. Последняя остановка. Последний акт

Erich Maria Remarque
Das Gelobte Land
Die Letzte Station
Der Letzte Akt

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1956, 1998
© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Cologne/ Germany, 1998, 2010
© Перевод. М. Рудницкий, 2018
© Перевод. Е. Зись, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

* * *

Земля обетованная

I

Третью неделю я смотрел на этот город: он лежал передо мной как на ладони – и словно на другой планете. Всего лишь в нескольких километрах от меня, отделенный узким рукавом морского залива, который я, пожалуй, мог бы и переплыть, – и все же недостижимый и недоступный, будто окруженный армадой танков. Он был защищен самыми надежными бастиями, какие изобрело двадцатое столетие, – крепостными стенами бумаг, паспортных предписаний и бесчеловечных законов непрошибаемо бездушной бюрократии. Я был на острове Эллис¹, было лето 1944 года, и передо мной лежал город Нью-Йорк.

Из всех лагерей для интернированных лиц, какие мне доводилось видеть, остров Эллис был самым гуманным. Тут никого не били, не пытали, не истязали до смерти непосильной работой и не травили в газовых камерах. Здесьним обитателям даже предоставлялось хорошее питание, причем бесплатно, и постели, в которых разрешалось спать. Повсюду, правда, торчали часовые, но они были почти любезны. На острове Эллис содержались прибывшие в Америку иностранцы, чьи бумаги либо внушали подозрение, либо просто были не в порядке. Дело в том, что одной только въездной визы, выданной американским консульством в европейской стране, для Америки было недостаточно, – при въезде в страну следовало еще раз пройти проверку Нью-Йоркского иммиграционного бюро и получить разрешение. Только тогда тебя впускали – либо, наоборот, объявляли нежелательным лицом и с первым же кораблем высылали обратно. Впрочем, с отправкой обратно все давно уже обстояло совсем не так просто, как раньше. В Европе шла война, Америка тоже увязла в этой войне по уши, немецкие подлодки рыскали по всей Атлантике, так что пассажирские суда к европейским портам назначения отплывали отсюда крайне редко. Для иных бедолаг, которым было отказано во въезде, это означало пусть крохотное, но счастье: они, давно уже привыкшие исчислять свою жизнь только днями и неделями, обретали надежду еще хоть какое-то время побыть на острове Эллис. Впрочем, вокруг ходило слишком много всяких прочих слухов, чтобы тешить себя такой надеждой, – слухов о битком набитых евреями кораблях-призраках, которые месяцами бороздят океан и которым, куда бы они ни приплыли, нигде не дают причалить. Некоторые из эмигрантов уверяли, будто своими глазами видели – кто на подходе к Кубе, кто возле портов Южной Америки – эти толпы отчаявшихся, молящих о спасении, теснящихся к поручням людей на заброшенных кораблях перед входом в закрытые для них гавани, – этих горестных «летучих голландцев» наших дней, уставших удирать от вражеских подлодок и людского жестокосердия, перевозчиков живых мертвецов и проклятых душ, чья единственная вина заключалась лишь в том, что они люди и жаждут жизни.

Разумеется, не обходилось и без нервных срывов. Станным образом здесь, на острове Эллис, они случались даже чаще, чем во французских лагерях, когда немецкие войска и гестапо стояли совсем рядом, в нескольких километрах. Вероятно, во Франции эта сопротивляемость собственным нервам была как-то связана с умением человека приспосабливаться к смертельной опасности. Там дыхание смерти ощущалось столь явно, что, должно быть, заставляло человека держать себя в руках, зато здесь люди, только-только расслабившиеся при виде столь близ-

¹ Небольшой остров в заливе Аппер-Бэй близ Нью-Йорка, к югу от южной оконечности Манхэттена; в 1892–1943 гг. – главный центр по приему иммигрантов в США, до 1954 г. – карантинный лагерь.

кого спасения, спустя короткое время, когда спасение вдруг начинало снова от них ускользать, теряли самообладание начисто. Впрочем, в отличие от Франции, на острове Эллис не случилось самоубийств – наверное, все-таки еще слишком сильна была в людях надежда, пусть и пронизанная отчаянием. Зато первый же невинный допрос у самого безобидного инспектора мог повлечь за собой истерику: недоверчивость и бдительность, накопленные за годы изгнания, на мгновение давали трещину, и после этого вспышка нового недоверия, мысль, что ты совершил непоправимую ошибку, повергала человека в панику. Обычно у мужчин нервные срывы случались чаще, чем у женщин.

Город, лежавший столь близко и при этом столь недоступный, становился чем-то вроде морока – он мучил, манил, издевался, все суля и ничего не исполняя. То, окруженный стайками клочковатых облаков и сиплыми, будто рев стальных ихтиозавров, гудками кораблей, он представал громадным расплывчатым чудищем, то, глубокой ночью, ошестиниваясь сотней башен бесшумного и призрачного Вавилона, превращался в белый и неприступный лунный ландшафт, а то, поздним вечером, утопая в буране искусственных огней, становился искрометным ковром, распростертым от горизонта до горизонта, чуждым и ошеломляющим после непроглядных военных ночей Европы, – об эту пору многие беженцы в спальном зале вставали, разбуженные всхлипами и вскриками, стонами и хрипом своих беспокойных соседей, тех, кого все еще преследовали во сне гестаповцы, жандармы и головорезы-эсэсовцы, и, сбилаясь в темные людские горстки, тихо переговариваясь или молча, вперив горящий взгляд в зыбкое марево на том берегу, в ослепительную световую панораму земли обетованной – Америки, застывали возле окон, объединенные немим братством чувств, в которое сводит людей только горе, счастье же – никогда.

У меня был немецкий паспорт, годный еще на целых четыре месяца. Этот почти подлинный документ был выдан на имя Людвиг Зоммера. Я унаследовал его от друга, умершего два года назад в Бордо; поскольку указанные в паспорте внешние приметы – рост, цвет волос и глаз – совпадали, некто Бауэр, лучший в Марселе специалист по подделке документов, а в прошлом профессор математики, посоветовал мне фамилию и имя в паспорте не менять; и хотя среди тамошних эмигрантов было несколько отличных литографов, сумевших уже не одному беспаспортному беженцу выправить вполне сносные бумаги, я все-таки предпочел последовать совету Бауэра и отказаться от собственного имени, тем более что от него все равно уже не было почти никакого толку. Наоборот, это имя значилось в списках гестапо, посему испариться ему было самое время. Так что паспорт у меня имелся почти подлинный, зато фото и я сам малость фальшивили. Умелец Бауэр растолковал мне выгоды моего положения: сильно подделанный паспорт, как бы замечательно он ни был сработан, годен только на случай беглой и небрежной проверки – всякой сколько-нибудь дельной криминалистической экспертизе он противостоять не в силах и неминуемо выдаст все свои тайны; тюрьма, депортация, если не что похуже, мне в этом случае обеспечены. А вот проверка подлинного паспорта при фальшивом обладателе – история куда более длинная и хлопотная: по идее, следует направить запрос по месту выдачи, но сейчас, когда идет война, об этом и речи быть не может. С Германией нет никаких связей. Все знатоки решительно советуют менять не паспорта, а личность; подлинность штемпелей стало проверять легче, чем подлинность имен. Единственное, что в моем паспорте не сходилось, так это вероисповедание. У Зоммера оно было иудейское, у меня – нет. Но Бауэр посчитал, что сие несущественно.

– Если немцы вас схватят, вы просто выбросите паспорт, – учил он меня. – Поскольку вы не обрезаны, то, глядишь, как-нибудь вывернетесь и не сразу угодите в газовую камеру. Зато пока вы от немцев убегаете, то, что вы еврей, вам даже на пользу. А невежество по части обычаев объясняйте тем, что ваш отец и сам был вольнодумцем, и вас так воспитал.

Бауэра через три месяца схватили. Роберт Хирш, вооружившись бумагами испанского консула, попытался вызволить его из тюрьмы, но опоздал. Накануне вечером Бауэра с эшелонном отправили в Германию.

На острове Эллис я повстречал двух эмигрантов, которых мельком знал и прежде. Случалось нам несколько раз повидаться на «страстном пути». Так назывался один из этапов маршрута, по которому беженцы спасались от гитлеровского режима. Через Голландию, Бельгию и Северную Францию маршрут вел в Париж и там разделялся. Из Парижа одна линия вела через Лион к побережью Средиземного моря; вторая, проскочив Бордо, Марсель и перевалив Пиренеи, убегала в Испанию, Португалию и утыкалась в лиссабонский порт. Вот этот-то маршрут и окрестили «страстным путем». Тем, кто им следовал, приходилось спасаться не только от гестапо – надо было еще не угодить в лапы местным жандармам. У большинства ведь не было ни паспортов, ни тем более виз. Если такие попадались жандармам, их арестовывали, приговаривали к тюремному заключению и выдворяли из страны. Впрочем, во многих странах у властей хватало гуманности доставлять их по крайней мере не к немецкой границе – иначе они неминуемо погибли бы в концлагерях. Поскольку очень немногие из беженцев имели возможность взять с собой в дорогу пригодный паспорт, едва ли не все были обречены почти непрерывно скитаться и прятаться от властей. Ведь без документов они не могли получить никакой легальной работы. Большинство страдали от голода, нищеты и одиночества, вот они и назвали дорогу своих скитаний «страстным путем». Их остановками на этом пути были главпочтамты в городах и стены вдоль дорог. На главпочтамтах они надеялись получить корреспонденцию от родных и друзей; стены домов и оград вдоль шоссе служили им газетами. Мелом и углем запечатлевались на них имена потерявшихся и искавших друг друга, предостережения, наставления, вопли в пустоту – все эти горькие приметы эпохи людского равнодушия, за которой вскоре последовала эпоха бесчеловечности, то бишь война, когда по обе стороны фронта гестаповцы и жандармы нередко делали одно общее дело.

Одного из этих эмигрантов, увиденных на острове Эллис, я, помнится, встретил на швейцарской границе, когда в течение одной ночи таможенники четыре раза отправляли нас во Францию. А там французские пограничники ловили нас и гнали обратно. Холод был жуткий, и в конце концов мы с Рабиновичем кое-как уговорили швейцарцев посадить нас в тюрьму. В швейцарских тюрьмах топили, для беженцев это был просто рай, мы с превеликой радостью провели бы там всю зиму, но швейцарцы, к сожалению, очень практичны. Они быстренько сбагрили нас через Тессин² в Италию, где мы и расстались. У обоих этих эмигрантов были в Америке родственники, которые дали за них финансовые ручательства. Поэтому уже через несколько дней их выпустили с острова Эллис. На прощанье Рабинович пообещал мне поискать в Нью-Йорке общих знакомых, товарищей по эмигрантскому несчастью. Я не придавал его словам никакого значения. Обычное обещание, о котором забываешь при первых же шагах на свободе.

Несчастливым, однако, я себя здесь не чувствовал. За несколько лет до того, в брюссельском музее, я научился часами сидеть в неподвижности, сохраняя каменную невозмутимость. Я погружался в абсолютно бездумное состояние, граничившее с полной отрешенностью. Глядя на себя как бы со стороны, я впадал в тихий транс, который смягчал неослабную судорогу долгого ожидания: в этой странной шизофренической иллюзии мне под конец даже начинало чудиться, что это жду вовсе не я, а кто-то другой. И тогда одиночество и теснота крошечной кладовки без света уже не казались непереносимыми. В эту кладовку меня спрятал директор музея, когда гестаповцы в ходе очередной облавы на эмигрантов прочесывали весь Брюссель

² Кантон в Швейцарии, граничащий с Италией.

квартал за кварталом. Мы с директором виделись считанные секунды, только утром и вечером: утром он приносил мне что-нибудь поесть, а вечером, когда музей закрывался, он меня выпускал. В течение дня кладовка была заперта; ключ был только у директора. Конечно, когда кто-то шел по коридору, мне нельзя было кашлять, чихать и громко шевелиться. Это было нетрудно, но щека страха, донимавшая меня поначалу, легко могла перейти в панический ужас при приближении действительно серьезной опасности. Вот почему в деле накопления психической устойчивости я на первых порах зашел, пожалуй, даже дальше, чем нужно, строго-настрого запретив себе смотреть на часы, так что иной раз, особенно по воскресеньям, когда директор ко мне не приходил, вообще не знал, день сейчас или ночь, – к счастью, у меня хватило ума вовремя отказаться от этой затеи. В противном случае я неминуемо утратил бы последние остатки душевного равновесия и вплотную приблизился бы к той трясине, за которой начинается полная утрата собственной личности. А я и так от нее никогда особо не удалялся. И удерживала меня вовсе не вера в жизнь; надежда на отмщение – вот что меня спасало.

Неделю спустя со мной вдруг заговорил тощий, покойнического вида господин, смахивавший на одного из тех адвокатов, что стаями ненасытного воронья кружили по нашему просторному дневному залу. При себе он имел плоский чемоданчик-дипломат зеленой крокодиловой кожи.

– Вы, случайно, не Людвиг Зоммер?

Я недоверчиво оглядел незнакомца. Говорил он по-немецки.

– А вам-то что?

– Вы не знаете, Людвиг Зоммер вы или кто-то еще? – переспросил он и хохотнул своим коротким, каркающим смехом. Поразительно белые, крупные зубы плохо вязались с его серым, помятым лицом.

Я тем временем успел прикинуть, что особых причин утаивать свое имя у меня вроде бы нет.

– Это-то я знаю, – отозвался я. – Только вам зачем это знать?

Незнакомец несколько раз сморгнул, как сова.

– Я по поручению Роберта Хирша, – объявил он наконец.

Я изумленно вскинул глаза.

– От Хирша? Роберта Хирша?

Незнакомец кивнул.

– От кого же еще?

– Роберт Хирш умер, – сказал я.

Теперь уже незнакомец глянул на меня озадаченно.

– Роберт Хирш в Нью-Йорке, – заявил он. – Не далее как два часа назад я с ним беседовал. Я потрянул головой.

– Исключено. Тут какая-то ошибка. Роберта Хирша расстреляли в Марселе.

– Глупости. Это Хирш послал меня сюда помочь вам выбраться с острова.

Я ему не верил. Я чуял, что тут какая-то ловушка, подстроенная инспекторами.

– Откуда бы ему знать, что я вообще здесь? – спросил я.

– Человек, представившийся Рабиновичем, позвонил ему и сказал, что вы здесь. – Незнакомец достал из кармана визитную карточку. – Я Левин из «Левина и Уотсона». Адвокатская контора. Мы оба адвокаты. Надеюсь, этого вам достаточно? Вы чертовски недоверчивы. С чего бы вдруг? Неужто столько всего скрываете?

Я перевел дух. Теперь я ему поверил.

– Всему Марселю было известно, что Роберта Хирша расстреляли в гестапо, – повторил я.

– Подумаешь, Марсель! – презрительно хмыкнул Левин. – Мы тут в Америке!

– В самом деле? – Я выразительно оглядел наш огромный дневной зал с его решетками на окнах и эмигрантами вдоль стен.

Левин снова издал свой каркающий смешок.

– Ну, пока еще не совсем. Как вижу, чувство юмора вы еще не утратили. Господин Хирш успел кое-что о вас порассказать. Вы ведь были вместе с ним в лагере для интернированных во Франции. Это так?

Я кивнул. Я все еще не мог толком прийти в себя. «Роберт Хирш жив! – вертелось у меня в голове. – И он в Нью-Йорке!»

– Так? – нетерпеливо переспросил Левин.

Я снова кивнул. Вообще-то это было так только наполовину: Хирш пробыл в том лагере не больше часа. Он приехал туда, переодевшись в форму офицера СС, чтобы потребовать от французского коменданта выдать ему двух немецких политэмигрантов, которых разыскивало гестапо. И вдруг увидел меня – он не знал, что я в лагере. Глазом не моргнув Хирш тут же потребовал и моей выдачи. Комендант, пугливый майор-резервист, давно уже сытый всем по горло, перечить не стал, но настоял на том, чтобы ему оставили официальный акт передачи. Хирш ему такой акт дал – он всегда имел при себе уйму самых разных бланков, подлинных и фальшивых. Потом отсалютовал гитлеровским «хайль!», затолкал нас в машину и был таков. Обоих политиков год спустя взяли снова: они в Бордо угодили в гестаповскую западню.

– Да, это так, – сказал я. – Могу я взглянуть на бумаги, которые вам дал Хирш?

Левин секунду колебался.

– Да, конечно. Только зачем вам?

Я не ответил. Я хотел убедиться, совпадает ли то, что написал обо мне Роберт, с тем, что сообщил о себе инспекторам я. Я внимательно прочел листок и вернул его Левину.

– Все так? – спросил он снова.

– Так, – ответил я и огляделся. Как же мгновенно все вокруг изменилось! Я больше не один. Роберт Хирш жив. До меня вдруг долетел голос, который я считал умолкнувшим навсегда. Теперь все по-другому. И ничто еще не потеряно.

– Сколько у вас денег? – поинтересовался адвокат.

– Сто пятьдесят долларов, – осторожно ответил я.

Левин покачал своей лысиной.

– Маловато даже для самой краткосрочной транзитно-гостевой визы, чтобы проехать в Мексику или Канаду. Но ничего, это еще можно уладить. Вы чего-то не понимаете?

– Не понимаю. Зачем мне в Канаду или в Мексику?

Левин снова ослабил свои лошадиные зубы.

– Совершенно незачем, господин Зоммер. Главное – для начала переправить вас в Нью-Йорк. Краткосрочную транзитную визу запросить легче всего. А уж оказавшись в стране, вы ведь можете и заболеть. Да так, что не в силах будете продолжить путешествие. И придется подавать запрос на продление визы, а потом еще. Ситуация может измениться. Ногу в дверь просунуть – вот что покамест самое главное! Теперь понимаете?

– Да.

Мимо нас с громким плачем прошла женщина. Левин извлек из кармана очки в черной роговой оправе и посмотрел ей вслед.

– Не слишком-то весело тут торчать, верно?

Я передернул плечами.

– Могло быть хуже.

– Хуже? Это как же?

– Много хуже, – пояснил я. – Можно, живя здесь, умирать от рака желудка. Или, к примеру, остров Эллис мог бы оказаться в Германии, и тогда вашего отца у вас на глазах приколачивали бы к полу гвоздями, чтобы заставить вас признаться.

Левин посмотрел на меня в упор.

– Чертовски своеобразная у вас фантазия.

Я покачал головой, потом сказал:

– Нет, просто чертовски своеобразный опыт.

Адвокат достал огромный пестрый носовой платок и оглушительно высморкался. Потом аккуратно сложил платок и сунул обратно в карман.

– Сколько вам лет?

– Тридцать два.

– И сколько из них вы уже в бегах?

– Пять лет скоро.

Это было не так. Я-то скитался значительно дольше, но Людвиг Зоммер, по чьему паспорту я жил, – только с 1939 года.

– Еврей?

Я кивнул.

– А внешность не сказать чтобы особенно еврейская, – заметил Левин.

– Возможно. Но вам не кажется, что у Гитлера, Геббельса, Гимmlера и Гесса тоже не особенно арийская внешность?

Левин опять издал свой короткий каркающий смешок.

– Чего нет, того нет! Да мне и безразлично. К тому же с какой стати человеку выдавать себя за еврея, раз он не еврей? Особенно в наше-то время? Верно?

– Может быть.

– В немецком концлагере были?

– Да, – неохотно вспомнил я. – Четыре месяца.

– Документы какие-нибудь есть оттуда? – спросил Левин, и в его голосе мне послышалось нечто вроде алчности.

– Не было никаких документов. Меня просто выпустили, а потом я сбежал.

– Жаль. Сейчас они бы нам оченьгодились.

Я глянул на Левина. Я понимал его, и все же что-то во мне противилось той гладкости, с которой он переводил все это в бизнес. Слишком мерзко и жутко это было. До того жутко и мерзко, что я сам с превеликим трудом сумел с этим совладать. Не забыть, нет, но именно совладать, переплавить и погрузить в себя, покуда оно без надобности. Без надобности здесь, на острове Эллис, – но не в Германии.

Левин открыл свой чемоданчик и достал оттуда несколько листков.

– Тут у меня еще кое-какие бумаги: господин Хирш дал мне с собой показания и заявления людей, которые вас знают. Все уже нотариально заверено. Моим партнером Уотсоном, удобства ради. Может, и на них хотите взглянуть?

Я покачал головой. Показания эти я знал еще с Парижа. Роберт Хирш в таких делах был дока. Не хотел я сейчас на них смотреть. Станным образом мне почему-то казалось, что при всех удачах сегодняшнего дня я должен кое-что предоставить самой судьбе. Любой эмигрант сразу понял бы меня. Тот, кто всегда вынужден ставить на один шанс из ста, как раз по этой причине никогда не станет преграждать дорогу обыкновенной удаче. Вряд ли имело смысл пытаться растолковать все это Левину.

Адвокат принялся удовлетворенно засовывать бумаги обратно.

– Теперь нам надо отыскать кого-нибудь, кто готов поручиться, что за время вашего пребывания в Америке вы не обремените государственную казну. У вас есть тут знакомые?

– Нет.

– Тогда, может, Роберт Хирш кого-нибудь знает?

– Понятия не имею.

– Уж кто-нибудь да найдется, – сказал Левин со странной уверенностью. – Роберт в этих делах очень надежен. Где вы собираетесь жить в Нью-Йорке? Господин Хирш предлагает вам гостиницу «Мираж». Он сам там жил раньше.

Несколько секунд я молчал, а затем вымолвил:

– Господин Левин, уж не хотите ли вы сказать, что я и вправду выберусь отсюда?

– А почему нет? Иначе зачем я здесь?

– Вы и правда в это верите?

– Конечно. А вы нет?

На мгновение я закрыл глаза.

– Верю, – сказал я. – Я тоже верю.

– Ну и прекрасно! Главное – не терять надежду! Или эмигранты думают иначе?

Я покачал головой.

– Вот видите. Не терять надежду – это старый, испытанный американский принцип! Вы меня поняли?

Я кивнул. У меня не было ни малейшего желания объяснять этому невинному дитяти легитимного права, сколь губительна иной раз бывает надежда. Она пожирает все ресурсы ослабленного сердца, его способность к сопротивлению, как неточные удары боксера, который безнадежно проигрывает. На моей памяти обманутые надежды погубили гораздо больше людей, чем людская покорность судьбе, когда ежиком свернувшаяся душа все силы сосредоточивает на том, чтобы выжить, и ни для чего больше в ней просто не остается места.

Левин закрыл и запер свой чемоданчик.

– Все эти вещи я сейчас вручу инспекторам для приобщения к делу. И через несколько дней приеду снова. Выше голову! Все у нас получится! – Он принялся. – Как же здесь пахнет... Как в плохо продезинфицированной больнице.

– Пахнет бедностью, бюрократией и отчаянием, – сказал я.

Левин снял очки и потер усталые глаза.

– Отчаянием? – спросил он не без иронии. – У него тоже бывает запах?

– Счастливый вы человек, коли этого не знаете, – проронил я.

– Не больно-то возвышенные у вас представления о счастье, – хмыкнул он.

На это я ничего не стал отвечать; бесполезно было втолковывать Левину, что нет таких бездн, где не нашлось бы места счастью, и что в этом, наверное, и состоит вся тайна выживания рода человеческого. Левин протянул мне свою большую костлявую ладонь. Я хотел было спросить его, во что все это мне обойдется, но промолчал. Иной раз так легко одним лишним вопросом все разрушить. Левина прислал Хирш, и этого достаточно.

Я встал, провожая адвоката взглядом. Его уверения, что у нас все получится, не успели меня убедить. Слишком большой у меня опыт по этой части, слишком часто я обманывался. И все-таки я чувствовал, как в глубине души нарастает волнение, которое теперь уже не унять. Не только мысль, что Роберт Хирш в Нью-Йорке, что он вообще жив, не давала мне покоя, но и нечто большее, нечто, чему я еще несколько минут назад сопротивлялся изо всех сил, что гнал от себя со всею гордыней отчаяния, – это была надежда, надежда вопреки всему. Ловкая, бесшумная, она только что впрыгнула в мою жизнь и снова была здесь, вздорная, неоправданная, неистовая надежда – без имени, почти без цели, разве что с привкусом некой туманной свободы. Но свободы для чего? Куда? Зачем? Я не знал. Это была надежда без всякого содержания, и тем не менее все, что я про себя именовал своим «я», она без малейшего моего участия уже подняла ввысь в порыве столь примитивной жажды жизни, что мне казалось, порыв этот не имеет со мной почти ничего общего. Куда подевалось мое смирение? Моя недоверчивость? Мое напускное, натужное, с таким трудом удерживаемое на лице чувство собственного превосходства? Я понятия не имел, где это все теперь.

Я обернулся и увидел перед собой женщину, ту самую, что недавно плакала. Теперь она держала за руку рыжего сынишку, который уплетал банан.

– Кто вас обидел? – спросил я.

– Они не хотят впускать моего ребенка, – прошептала она.

– Почему?

– Они говорят, он... – Она замялась. – Он отстал. Но он поправится! – затараторила она с горячностью. – После всего, что он перенес. Он не идиот! Просто отстал в развитии! Он обязательно поправится! Просто надо подождать! Он не душевнобольной! Но они там мне не верят!

– Врач среди них есть?

– Не знаю.

– Потребуйте врача. Специалиста. Он поможет.

– Как я могу требовать врача, да еще специалиста, когда у меня нет денег? – пробормотала женщина.

– Просто подайте заявление. Здесь это можно.

Мальчуган тем временем деловито, лепестками внутрь, сложил кожуру от съеденного банана и сунул ее в карман.

– Он такой аккуратный! – прошептала мать. – Вы только посмотрите, какой он аккуратный. Разве он похож на сумасшедшего?

Я посмотрел на мальчика. Казалось, он не слышал слов матери. Отвесив нижнюю губу, он чесал макушку. Солнце тепло искрилось у него в волосах и отражалось от зрачков, словно от стекла.

– Почему они его не впускают? – бормотала мать. – Он и так несчастней других.

Что на это ответишь?

– Они многих впускают, – сказал я наконец. – Почти всех. Каждое утро кого-то отправляют на берег. Наберитесь терпения.

Я презирал себя за то, что это говорю. Я чувствовал, как меня подмывает спрятаться от этих глаз, которые смотрели из глубин своей беды в ожидании спасительного совета. Не было у меня такого совета. Я смущенно пошарил в кармане, достал немного мелочи и сунул безучастному ребенку прямо в ладошку.

– На вот, купи себе что-нибудь.

Это сработало старое эмигрантское суеверие – привычка подкупать судьбу такой вот наивной уловкой. Я тут же устыдился своего жеста. Грошовая человечность в уплату за свободу, подумал я. Что дальше? Может, вместе с надеждой уже появился ее продажный брат-близнец – страх? И ее еще более паскудная дочка – трусость?

Мне плохо спалось этой ночью. Я подолгу слонялся возле окон, за которыми, подрагивая, полыхало северное сияние Нью-Йорка, и думал о своей порушенной жизни. Под утро с каким-то стариком случился приступ. Я видел тени, тревожно метавшиеся вокруг его постели. Кто-то шепотом спрашивал нитроглицерин. Видно, свои таблетки старик потерял.

– Ему нельзя заболеть! – шушукались родственники. – Иначе все пропало! К утру он должен быть на ногах!

Таблеток они так и не нашли, но меланхоличный турок с длинными усами одолжил им свои. Утром старик с грехом пополам поплелся в дневной зал.

II

Через три дня адвокат явился снова.

– У вас жуткий вид, – закаркал он. – Что с вами?

– Надежда, – с усмешкой ответил я. – Надежда доканывает человека вернее всякого несчастья. Вам ли этого не знать, господин Левин.

– Опять эти ваши эмигрантские шуточки! У вас нет поводов скисать до такой степени. У меня для вас новости.

– И какие же? – спросил я осторожно. Я все еще боялся, как бы не выплыла история с моим паспортом.

Левин опять осклабил свои несусветные зубы. Часто же, однако, он смеется. Слишком часто для адвоката.

– Мы нашли для вас поручителя! – объявил он. – Человека, который даст гарантию, что государству не придется нести из-за вас расходы. Спонсора! Ну, что теперь скажете?

– Хирш, что ли? – спросил я, сам не веря своему вопросу.

Левин покачал лысиной.

– Откуда у Хирша такие деньги. Вы знаете банкира Танненбаума?

Я молчал. Я не знал, как отвечать.

– Возможно, – пробормотал я наконец.

– Возможно? Что значит «возможно»?! Вечно вы увиливаете! Конечно, вы его знаете! Он же за вас поручился!

Внезапно возле самых окон над беспокойно мерцающим морем с криками пронеслась стая чаек. Никакого банкира Танненбаума я не знал. Я вообще никого не знал в Нью-Йорке, кроме Роберта Хирша. Наверное, это он все устроил. Как устраивал во Франции, прикидываясь испанским вице-консулом.

– Очень может быть, что и знаю, – сказал я уклончиво. – Когда ты в бегах, встречаешь уйму людей, а фамилии легко забываются.

Левин смотрел на меня скептически.

– Даже такая рождественская, как Танненбаум³?

Я рассмеялся.

– Даже такая, как Танненбаум. А почему нет? Как раз Танненбаум и забывается! Кому в наши дни охота вспоминать о немецком Рождестве?

Левин фыркнул своим бугристым носом.

– Не имеет значения, знаете вы его или нет. Главное, чтобы он за вас поручился. И он готов это сделать.

Левин раскрыл чемоданчик. Оттуда вывалилось несколько газет. Он протянул их мне.

– Утренние. Уже читали?

– Нет.

– Как? Еще не читали? Здесь что, нет газет?

– Есть. Но я их еще не читал.

– Странно. Мне-то казалось, что как раз вы должны каждый день прямо кидаться на газеты. Разве остальные не кидаются?

– Может, и кидаются.

– А вы нет?

– А я нет. Да и не настолько я знаю английский.

Левин покачал головой.

– Своеобразная вы личность.

– Очень может быть, – буркнул я. Я даже пытаться не стал растолковать этому любителю прямых ответов, почему стараюсь не следить за сообщениями с фронтов, покуда сижу здесь взаперти. Для меня куда важнее сберечь скудные остатки внутренних резервов, а не транжирить их на пустые эмоции. А расскажи я Левину, что вместо газет по ночам читаю антологию

³ Tannenbaum – елка (нем.).

немецкой поэзии, с которой не расставался на протяжении всех скитаний, он, чего доброго, вообще откажется представлять мои интересы, сочтя меня душевнобольным.

– Большое спасибо, – сказал я, забирая газеты.

Левин продолжал рыться в папке с бумагами.

– Вот двести долларов, которые мне передал для вас Хирш, – объявил он. – Первая выплата моего гонорара.

Левин извлек на свет четыре зеленых купюры, разложил их карточным веером, помахал и мгновенно припрятал снова.

Я проводил купюры взглядом.

– Господин Хирш передал мне эти деньги только для того, чтобы я выплатил вам аванс? – поинтересовался я.

– Не то чтобы так прямо, но ведь вы мне их отдадите, не так ли? – Левин опять улыбался, но теперь уже не только всеми зубами и каждой морщинкой лица, а, казалось, даже ушами. – Вы же не хотите, чтобы я работал на вас бесплатно? – кротко спросил он.

– Конечно, нет. Однако не вы ли сами утверждали, что для допуска в Америку моих ста пятидесяти долларов слишком мало?

– Без спонсора – да! Но Танненбаум все меняет.

Левин буквально сиял. Он сиял до того нестерпимо, что я всерьез начал опасаться и за мои оставшиеся полторы сотни. И решил стоять за них до последнего, пока не получу в руки паспорт с въездной визой. Похоже, однако, Левин и сам это почувствовал.

– Теперь со всеми документами я иду к инспекторам, – деловито заявил он. – И если все пойдет как надо, то через несколько дней к вам пожалует мой партнер Уотсон. Он уладит все остальное.

– Уотсон? – удивился я.

– Уотсон, – подтвердил он.

– А почему не вы? – спросил я настороженно.

К немалому моему изумлению, Левин смутился.

– Уотсон из семьи потомственных американцев. Самых первых, – пояснил он. – Его предки прибыли в страну на «Мейфлауэре». В Америке это все равно что принадлежать к высшей знати. Безобидный предрассудок, но просто грех им не воспользоваться. Особенно в вашем случае. Вы меня понимаете?

– Понимаю, – оторопело ответил я. Видимо, Уотсон не еврей. Значит, и здесь это тоже имеет значение.

– Он придаст нашему делу надлежащий вес, – сказал Левин солидно. – И другим нашим запросам, на будущее. – Протягивая мне костлявую руку, он встал. – Всего хорошего! Скоро вы будете в Нью-Йорке!

Я не ответил. Все в адвокате мне не нравилось. Суеверный, как всякий, кто живет волей случая, я видел дурное предзнаменование в беспечной уверенности, с какой этот человек смотрит в будущее. Он выказал эту уверенность в первый же день, когда спросил меня, где я собираюсь жить в Нью-Йорке. У нас, эмигрантов, это не принято – боимся сглазить. Слишком часто на моем веку такие вот надежды оборачивались самым худым концом. А тут еще и Танненбаум – что значит эта странная, непонятная история? Я все еще толком не верил в нее. И деньги от Роберта Хирша этот адвокатишка мигом прикарманил! Наверняка они предназначались не для этого! Двести долларов! Целое состояние! Я свои полторы сотни целых два года копил. А этот Левин, чего доброго, в следующий приход захочет и их заграбастать! Немного успокаивало меня только одно: эту зубастую гиену все-таки послал ко мне Роберт Хирш.

Из всех, кого я знал, Хирш был единственным истинным маккавеем⁴. Однажды, вскоре после перемирия, он вдруг объявился во Франции в роли испанского вице-консула. Раздобыв откуда-то дипломатический паспорт на имя Рауля Тенье, он выдавал себя за такового с поразительной наглостью. Никто не знал, фальшивый у него паспорт или подлинный, а если подлинный, то насколько. Поговаривали даже, что Хирш получил его чуть ли не от французского Сопротивления. Сам Роберт хранил на сей счет полную непроницаемость, но всем и так было известно, что в кометном шлейфе его карьеры были эпизоды, когда он работал и на французское подполье. Как бы там ни было, он имел в распоряжении автомобиль с испанскими номерами и эмблемой дипкорпуса, носил элегантные костюмы и во времена, когда горячее было дороже золота, на трудности с бензином не жаловался. Добыть все это он мог только через подпольщиков. Хирш и работал на них: перевозил оружие, литературу – листовки и маленькие двухстраничные памфлеты. Это были времена, когда немцы, нарушив пакт о частичной оккупации, вторгались на незанятую часть Франции, устраивая там облавы на эмигрантов. Всех, кого мог, Хирш пытался спасти. Его выручали автомобиль, паспорт – и отвага. Когда его все же останавливали на дорогах для проверки, он в роли полномочного представителя другого, дружественного Германии диктатора не знал к проверяющим ни пощады, ни снисхождения. Он отчитывал постовых, кричал о своем дипломатическом иммунитете и, чуть что, грозил жаловаться лично Франко, а через того – самому Гитлеру. Опасаясь нарваться на неприятности, немецкие патрули предпочитали пропускать его сразу. Врожденный верноподданнический страх заставлял их трепетать перед громким титулом и паспортом, а выработанная за годы муштры привычка к послушанию сочеталась, особенно у низших чинов, с боязнью ответственности. Однако даже офицеры СС теряли лицо, когда Хирш принимался на них орать. Весь его расчет при этом был на страх, который порождает в собственных рядах всякая диктатура, превращая право в капризное орудие субъективного произвола, опасного не только для врагов, но и для сторонников, когда те просто не в силах уследить за постоянно меняющимися предписаниями. Таким образом, Хирш извлекал выгоду из трусости, которая, наряду с жестокостью, есть прямое следствие всякого деспотизма.

* * *

На несколько месяцев Хирш стал для эмигрантов чем-то вроде ходячей легенды. Некоторым он спасал жизнь неведомо где раздобытыми бланками удостоверений, которые заполнял на их имя. Благодаря этим бумажкам людям, за которыми уже охотилось гестапо, удавалось улизнуть за Пиренеи. Других Хирш прятал в провинции по монастырям, пока не предоставлялась возможность переправить их через границу. Двоих он сумел освободить даже из-под ареста и потом помог бежать. Подпольную литературу Хирш возил в своей машине почти открыто и чуть ли не кипами. Это в ту пору он, на сей раз в форме офицера СС, вытащил из лагеря и меня – к двум политикам в придачу. Все с замиранием сердца следили за этой отчаянной вылазкой одиночки против несметных сил противника, с ужасом ожидая неминуемой гибели смельчака. И вдруг Хирш сразу исчез, как в воду канул. Прошел слух, что его расстреляли гестаповцы. И, как всегда, нашлись люди, которые вроде бы даже видели, как его арестовали.

После моего освобождения из лагеря мы еще не раз встречались и провели друг с другом не один вечер, досиживая за разговором до утра. Хирш был вне себя от того, что немцы

⁴ Здесь: символ стойкости евреев. Маккавеи – представители священнического рода Хасмонеев, дети Маттафии и их потомки, правили в Иудее с 167 по 37 г. до н. э. Иуда Маккавей возглавил народное восстание в Иудее против власти Селевкидов, в 164 г. захватил Иерусалим. После гибели Иуды Маккавея в 161 г. до завоевания Иудеей политической независимости борьбу возглавили его братья. Семь братьев Маккавеев – Авим, Алим, Антонин, Гурий, Евсевон, Елеазар и Маркелл – были убиты в 166 г. в гонение Антиоха IV Эпифана за отказ нарушить закон Моисеев (2 Маккавейская, 7). Память в Православной церкви 1 (14) августа.

убивают евреев как кроликов, а те тысячами, без малейшего сопротивления, дают заталкивать себя в битком набитые товарные вагоны и везти напрямик в лагеря смерти. Он не мог уразуметь, почему они даже не пытаются восстать, дать отпор, почему хотя бы часть из них, зная, что погибели все равно не миновать, не взбунтуется, дабы прихватить с собой пару-тройку жизней своих палачей, – так нет же, все как один покорно идут на заклатие. Мы оба знали, что поверхностными рассуждениями о страхе, последней отчаянной надежде или тем паче трусости ничего тут не объяснишь – скорее объяснение коренилось в чем-то прямо противоположном, ибо, судя по всему, человеку, вот так, молча принимающему смерть, требуется куда больше мужества, чем тому, кто будет рвать и метать, изображая перед смертью неистовство тевтонской мести. И все равно Хирш выходил из себя при виде этого – длящегося вот уже два тысячелетия со времен маккавеев – смирения. Он ненавидел за это свой народ – и понимал его всеми фибрами выстраданной любви и боли. Личная война, которую он в одиночку вел против изуверства, имела свои, не только общечеловеческие причины; в чем-то это было еще и восстание против самого себя.

Я взял газеты, которые дал мне Левин. По-английски я понимал плохо, так что читал с трудом. Еще на корабле я одолжил у одного сирийца французский учебник английской грамматики; какое-то время этот сириец даже давал мне уроки. Уже здесь, когда его выпустили, он оставил книгу мне в подарок, и я продолжал занятия. Произношение я с грехом пополам осваивал при помощи портативного граммофона, который привезла с собой на остров Эллис семья польских эмигрантов. Там было около дюжины пластинок, которые все вместе составляли курс английского. Граммофон по утрам выносился из спального в дневной зал, вся семья усаживалась перед ним где-нибудь в уголке и учила английский. Они рьяно и почти подобострастно вслушивались в неторопливый, сытый голос диктора, пока тот нудно рассказывал про жизнь воображаемой четы англичан, мистера и миссис Браун, – у тех был дом, сад, сыновья и дочери, которые исправно ходили в школу и делали домашние задания, в то время как сам мистер Браун, у которого имелся еще и велосипед, ездил на этом велосипеде в контору, где он служил, а миссис Браун при всем при том поливала цветы, готовила обед, носила передник и густые черные волосы. Несчастные эмигранты каждый день истово жили вместе с семьей Браунов этой сонной жизнью, их уста раскрывались и закрывались в такт речениям диктора, как при замедленной киносъемке, а вокруг, кто стоя, кто сидя, трудились все, кому тоже хотелось пожить знаниями. Со стороны, особенно в сумерки, казалось, будто сидишь возле пруда со старыми карпами, которые лениво всплывают на поверхность, раскрывая и закрывая рты в ожидании подкормки.

Были среди эмигрантов и такие, кто мог бегло объясниться по-английски. Во время оно у их родителей хватило ума определить своих чад в реальные училища, где вместо латыни и греческого им преподавали английский.

Теперь эти чада сами превратились в авторитетных учителей и время от времени консультировали тех, кто, склонившись над газетой, по складам разбирал фронтовые сводки с полей всемирной бойни, попутно упражняясь в числительных: десять тысяч убитых, двадцать тысяч раненых, пятьдесят тысяч пропавших без вести, сто тысяч пленных, – благодаря чему бедствия планеты на какое-то время сводились для них к трудностям школьного урока, на котором, допустим, надо непременно освоить произношение звука *th* в слове *thousand*⁵. Знайки снова и снова терпеливо демонстрировали им этот каверзный звук, которого в немецком нет и по скверному произношению которого в тебе мигом распознают иностранца, – *th* как *thousand, fifty thousand*⁶ убитых в Берлине и Гамбурге, – до тех пор, пока кто-то из учеников,

⁵ Тысяча (англ.).

⁶ Пятьдесят тысяч (англ.).

внезапно побледнев и поперхнувшись на полуслове, не выпадал вдруг из роли школяра, с ужасом бормоча:

– Гамбург? Да у меня же мама еще в Гамбурге!

Я не очень представлял себе, какой именно акцент вырабатывается у меня на острове Эллис; зато я люто возненавидел войну в качестве материала для букваря. Уж лучше верить себя нудному идиотизму моей английской грамматики и зазубривать, что Карл носит зеленую шляпу, что его сестренке двенадцать лет и она любит пирожные, а его бабушка все еще катается на коньках. Эти высокоумные измышления нафталиновой педагогической премудрости по крайней мере образовывали что-то вроде островков идиллической банальности в кровавых морях газетного чтения. А на душе и без того было тошно от одного вида всех этих беженцев, которые стыдились... которых жизнь заставила стыдиться своего родного языка, языка палачей и изуверов, и которые теперь – не столько даже обучения ради, а словно лихорадочно торопясь позабыть последние привезенные с собой остатки родной речи – беспомощно коверкали чужеземные слова, норовя даже между собой изъясняться по-английски. Дня за два до моего освобождения томик немецких стихов, с которым я не разлучался, внезапно исчез. Утром я на секунду оставил его в дневном зале – а нашел только после обеда, в уборной, разорванным в клочки и перепачканным в дерьме. И поделом мне, подумал я: все чарующие красоты немецкой лирики выглядели здесь чудовищной издевкой над страданиями, принятыми всеми этими несчастными от той же самой Германии.

Уотсон, партнер Левина, и вправду явился через несколько дней. Это был помпезного вида мужчина с крупным мясистым лицом и пышными седыми усами. Как я и предполагал, он не был евреем и не обладал ни любопытством Левина, ни его интеллигентной сообразительностью. Он не говорил ни по-немецки, ни по-французски, зато широко жестикулировал и расплывался в глуповатой, хотя и успокоительной улыбке. Худо-бедно, но как-то мы с ним объяснились. Уотсон, впрочем, ни о чем особенно и не спрашивал, только императорским жестом повелел мне ждать, а сам отправился в администрацию беседовать с инспекторами.

В это время в женском отделении возникла какая-то тихая сумятица. Туда сразу же устремились надзиратели. Все обитательницы отделения сгрудились вокруг одной женщины – та лежала на полу и постанывала.

– Что там стряслось? – спросил я у старика, который одним из первых метнулся на шум и уже успел вернуться. – Опять с кем-то истерика?

Старик мотнул головой:

– Похоже, какая-то чудачка надумала рожать.

– Что? Рожать? Здесь?

– Похоже на то. Любопытно, что скажут инспектора. – Старик невесело хмыкнул.

– Преждевременные роды! – объявила дама в красной панбархатной блузке. – На месяц раньше срока. Не мудрено, при такой-то нервотрепке.

– Ребенок уже родился? – спросил я.

Женщина глянула на меня свысока.

– Разумеется, нет. У нее только первые боли. Это может длиться часами.

– Если ребенок родится здесь – он будет американцем? – поинтересовался вдруг старик.

– А кем же еще? – опешила женщина в красной блузке.

– Я имею в виду – здесь, на Эллисе. Все-таки это лишь карантинная зона, вроде как еще не настоящая Америка. Америка – вон она где.

– Здесь тоже Америка! – выпалила дама. – Охранники вон американцы. И инспектора тоже.

– Если так, то матери крупно повезет, – заметил старик. – У нее неожиданно-негаданно объявится родственник в Америке – собственный ребенок! Ее легче будет пропустить! Эмигрантов, у кого в Америке родственники, пропускают почти сразу. – Старик обвел нас несмелым взглядом и смущенно улыбнулся.

– Если его не признают американцем, значит, это будет первый истинный гражданин мира, – сказал я.

– Второй, – возразил старик. – Первого мне довелось повстречать еще в тридцать седьмом на мосту между Австрией и Чехословакией. На этот мост полиция обеих стран согнала тогда немецких эмигрантов. Податься было некуда, кордон стоял с двух концов. Целых три дня между границами прокуковали. Вот одна и родила.

– И что же стало с ребенком? – взволнованно спросила женщина в красной блузке.

– Умер задолго до того, как между двумя странами успела начаться война, – проронил старик. – Это было еще в гуманные времена, до их присоединения к Германии, – добавил он почти извиняющимся тоном. – Потом-то эту мамашу вместе с ее младенцем попросту прибили бы, как котят.

* * *

Я увидел, что Уотсон уже возвращается из инспекторского бюро. В своем светлом клетчатом костюме он возвышался над согбенными спинами жмущихся у дверей беженцев, будто великан. Я поспешил навстречу. Сердце у меня вдруг бешено забилося. Уотсон помахал моим паспортом.

– Считайте, что вам повезло, – объявил он. – Тут какая-то женщина рожает, инспектора совсем одурели. Вот ваша виза.

Я взял паспорт. Руки у меня дрожали.

– И на какой срок?

Уотсон от удовольствия даже рассмеялся.

– Собирались дать вам транзитную и только на четыре недели, а дали туристическую на два месяца. Можете этой роженице спасибо сказать – так они торопились от нее, а заодно и от меня избавиться. Для нее, кстати, уже заказана моторка – сразу в больницу повезут. Заодно и нас могут прихватить. Ну, как вам это?

Уотсон крепко хлопнул меня по спине.

– Это что же, выходит, я свободен?

– Конечно! На ближайшие два месяца. А потом мы придумаем что-нибудь еще.

– Два месяца! – пробормотал я. – Целая вечность.

Уотсон мотнул своей львиной шевелюрой.

– Вовсе не вечность! Всего два месяца! Нам надо сразу же обсудить наши следующие шаги.

– Только на берегу! – сказал я. – Не сейчас!

– Хорошо. Но особенно не затягивайте. Тут еще кое-какие расходы остались – проезд, виза, ну и прочее. Всего пятьдесят долларов. Лучше сразу же это уладить. А уж остаток гонорара отдадите, когда обживетесь.

– Остаток – это сколько?

– Сто долларов. Очень недорого. Мы не злодеи какие-нибудь.

Я ничего ему на это не ответил. Мне вдруг страстно захотелось только одного – как можно скорее выбраться из этого зала. Прочь с острова Эллис! Я боялся, что в последний миг дверь инспекторского бюро вдруг распахнется и меня вызовут, вернут. Я торопливо достал свой тощий бумажник и выдернул оттуда пятьдесят долларов. Оставалось у меня еще девять-десять. Это не считая сотни долга. «Теперь всю оставшуюся жизнь плати этим адвокатам

проценты», – пронеслось у меня в голове. Но мне уже было все равно – я ничего не чувствовал, кроме яростного, ознобом накатывающего нетерпения.

– Мы можем идти? – спросил я.

Женщина в красной блузке вдруг рассмеялась.

– Сколько еще часов пройдет, пока этот ребенок родится. Часов! Но они там этого не знают. Эти инспекторишки! Все знают, а этого не знают! И я лично меньше всего намереваюсь их просвещать. Ведь любая живая тварь, выходящая отсюда, дарит надежду остающимся. Верно?

– Верно, – согласился я. И увидел женщину, которой предстояло рожать, – двое надзирателей вели ее под руки.

– Мы можем идти за ними? – спросил я Уотсона.

Тот кивнул. Женщина в панбархатной блузке пожала мне руку. Тут же подошел и старик, чтобы поздравить меня. Мы пошли к выходу. В дверях я предъявил полицейскому свой паспорт. Он тут же вернул его мне.

– Счастья вам! – пожелал он и тоже протянул руку.

Впервые в жизни мне жал руку полицейский, да еще и желал счастья. На меня это весьма своеобразно подействовало: только тут я понял, что действительно свободен.

Нас погрузили в моторку, больше похожую на солидный баркас. Роженицу в сопровождении двух охранников уложили на корме. Уотсон, я и еще несколько выпущенных на волю счастливцев теснились на носу. Рев мотора и гудки окружающих кораблей заглушили стоны женщины. Солнце и ветер со всех сторон охватили лодку искристой зыбью подрагивающих солнечных бликов, так что казалось – наша моторка не плывет, а парит между небом и водой. Я стоял, не оглядываясь. Паспорт был спрятан во внутреннем кармане, я прижимал его к телу. Небоскребы Манхэттена исполинскими стражами вырастали в ослепительно голубом небе. Вся переправа заняла лишь несколько минут.

Когда мы уже причаливали, один из пассажиров не смог удержаться от слез. Это был тщедушный старичок на тонких ножках и в старомодной велюровой шляпе. Бородка его затряслась, и он упал на колени, простирая руки к небу в истовом и беспцельном жесте. При ярком свете утреннего солнца это выглядело и трогательно, и комично. Супруга старичка, вся в морщинах, маленькая, смуглая, как орех, досадливо стала его поднимать.

– Костюм перепачкаешь! А он у тебя только один!

– Мы в Америке! – лепетал старичок.

– Ну да, да, мы в Америке, – крикливым голосом ответила ему жена. – А где наш Иосиф? Где Самуия? Где они? Где наша Мириам, где они все?.. Мы в Америке, – повторила она. – А все остальные где? Поднимайся и помни о костюме!

Своими мертвыми, неподвижными, словно у жука, глазами она теперь смотрела на всех нас:

– Мы-то в Америке! А где остальные? Дети где?

– Что она говорит? – поинтересовался Уотсон.

– Радует, что наконец-то в Америке.

– Ах вот оно что! Еще бы! Тут у нас земля обетованная. Вы ведь тоже рады, не так ли?

– Очень! Большое вам спасибо за помощь.

Я осмотрелся. Вокруг меня, казалось, бушует автомобильная битва. Никогда прежде мне не доводилось видеть столько машин одновременно. В Европе до войны машин было немного, да и бензина почти всегда не хватало.

– А где же солдаты? – удивился я.

– Солдаты? Какие солдаты?

– Но ведь Америка ведет войну!

Уотсон широко улыбнулся.

– Война в Европе и в Атлантике, – доброжелательно растолковал он мне. – А здесь нет. В Америке войны нет. Здесь у нас мир.

На секунду я даже забыл об этом. Враг далеко, где-то на краю света. Здесь не надо оборонять от него границы. Не надо стрелять. Здесь нет руин. Нет бомб. Вообще никаких разрушений.

– Мир, – повторил я.

– Не похоже на Европу, верно? – с гордостью спросил Уотсон.

Я кивнул.

– Совсем не похоже.

Уотсон показал на другую сторону улицы.

– Вон там стоянка такси. А напротив остановка омнибуса. Не пешком же вы пойдете!

– Отчего же. Именно пешком. Я вдоволь насиделся взаперти.

– Ах вот что. Ну как хотите. Кстати, в Нью-Йорке вы не заблудитесь. Почти все улицы здесь по номерам. Очень удобно.

Я брел по улицам, словно пятилетний мальчуган – как раз на столько, должно быть, хватало моих знаний английского. Я брел сквозь ошеломляющий поток звуков, слов, смеха, криков, клаксонов, сквозь все это взбудораженное кипение жизни, которому пока что не было до меня никакого дела, хоть оно слепой силой прибоя и рвалось во все мои чувства. Я слышал вокруг себя только шум, не понимая отдельных звуков, я видел вокруг себя только свет, не понимая, из чего он возникает и во что складывается. Я брел по городу, каждый обитатель которого казался мне таинственным Прометеем – до того загадочными были даже самые привычные их повадки и жесты, не говоря уже о словах, в звучании которых я тщетно пытался улавливать смысл. Все вокруг наполнилось изобилием возможностей, мне неизвестных, ибо я не знал этого языка. Все было иначе, чем в европейских странах, где знакомая жизнь поддавалась толкованию легко и сразу. Здесь же мне все время чудилось, будто я шагаю по гигантской арене, на которой все эти прохожие, официанты, шоферы играют между собой в какую-то непонятную мне игру, а я, хоть и нахожусь в самом центре событий, из игры напрочь выключен, ибо не знаю правил. Я понимал, что эти мгновения – единственные и никогда больше не повторятся. Уже завтра, да нет, уже сегодня, как только дойду до гостиницы, я вольюсь в эту жизнь, и вечная борьба, полная уловок и утаек, выгадываний и грошовых сделок, а еще скопища мелких полуправд, из которых складываются мои будни, начнется снова-здорово, – но сейчас, в этот единственный миг, город, еще не успевший меня заметить, распахивал мне навстречу свое лицо, неистовое и громогласное, безучастное и чуждое, открываясь во всей своей безличной прозрачности и мощи, как ослепительный гигантский кристалл сияющей и смертоносной кометы. Мне показалось, что даже время на несколько минут остановилось в некоей судьбоносной цезуре, когда все вдруг возможно, любое решение подвластно, когда вся твоя жизнь замерла в бездвижной невесомости и только от одного тебя зависит, рухнет она или нет.

Я очень медленно брел по бурлящему городу; я и видел его, и не видел. Я до того столь долго был целиком и полностью поглощен лишь примитивными нуждами самосохранения, что привычку не замечать жизнь других ценил как выгоду. Это было безоглядное желание выжить, как на тонущем корабле за секунду до всеобщей паники, когда перед тобой только одна цель: не умереть. Но теперь, в мгновенья этого удивительного междучасья, я вдруг почувствовал, что, возможно, передо мной опять пышным веером разворачивается жизнь, что в этой жизни снова есть пусть даже очень скудно отмеренное, но будущее, а вместе с будущим из небытия начинало подниматься и прошлое, дыша запахом крови и тленом могил. Я смутно ощущал – это такое прошлое, что ему ничего не стоит меня убить, но сейчас я не хотел об этом думать –

не в сей час мерцающих отражениями витрин и пьянящего дурмана свободы, колышущегося океана незнакомых лиц, полуденной суеты, громких и чуждых звуков, разлитого повсюду света и жажды жизни, не в этот час, когда я, будто лазутчик, крадусь меж двух миров, не принадлежа ни одному из них, словно бы, как в детстве, мне показывают фильм с перепутанным звуковым сопровождением, и в его музыке мне открывается много больше, чем просто внезапное чудо света и тени и моего детского восторга и детской же уверенности, что восторг обернется разочарованием. Мне казалось, будто в темницу долгого внутреннего заточения, куда меня упрятала беспросветная нужда, вдруг постучалась жизнь, и уже задает вопросы, и требует ответов, и просит оглянуться, и над мшистой трясиной памяти манит дымкой робкой, еще почти бесплотной надежды. «Надежда, да разве бывает она вообще?» – думал я, уставившись в распахнутые двери магазина, в необъятных недрах которого, посверкивая хромом облицовки, позвякивая звоночками и перемигиваясь разноцветными лампочками, шеренгами выстроились игральные автоматы. Неужто это еще возможно? Неужели не все во мне пересохло и вымерло, неужели от ужасов выживания можно вернуться просто к проживанию и даже к жизни? Разве бывает такое – чтобы все начать сначала, снова предстать перед жизнью во всей неведомости и полноте своих нераскрытых предназначений, как тот язык, что лежал сейчас передо мной во всей своей непроницаемости? Разве можно проделать все это, не совершив предательства и вторично, теперь уже забвением, не убивая тех, кого однажды уже убили?

Я брел все дальше, брел по улицам, которые вместо названий носили просто номера и становились все обшарпанней и уже, покуда с фасада чуть в глубине стоящего дома на меня не глянула вывеска гостиницы «Мираж». Подъезд был облицован искусственным мрамором, одна из плиток успела треснуть. Я вошел и тут же остановился. После яркого света улицы в тесном холле с трудом угадывались подобие стойки, несколько плюшевых кресел и такой же диван, а еще кресло-качалка, с которой в темноте лениво поднялось что-то, силуэтом сильно напоминая медведя.

– Вы Людвиг Зоммер? – поинтересовался медведь по-французски.

– Да, – удивленно подтвердил я. – Откуда вы знаете?

– Роберт Хирш предупреждал, что вы можете приехать днями. Меня зовут Владимир Мойков. Я тут и за управляющего, и за горничную, и официант, и мальчик на побегушках.

– Мне повезло, что вы говорите по-французски. Молчал бы тут как рыба.

Мойков пожал мне руку.

– Говорят, под водой рыбы весьма общительные создания, – заявил он. – Кто угодно, только не молчуны. Согласно новейшим научным разысканиям. Можете, кстати, говорить со мной и по-немецки.

– Вы немец?

Лицо Мойкова сморщилось множеством борозд и складочек – это была улыбка.

– Нет. Я остаточный продукт многих революций. Сейчас я американец. Прежде побывал чехом, русским, поляком, австрийцем, смотря по тому, кто стоял в городишке, откуда родом моя мать. Даже немцем побывал – в оккупации. Что-то вид у вас какой-то жаждущий. Хотите рюмку водки?

Я замялся, подумав о моих стремительно тающих финансах.

– А сколько у вас стоит комната? – спросил я.

– Самая дешевая два доллара за ночь. – Мойков направился к доске с ключами. – Правда, это скорее каморка. Без роскоши и без удобств. Но ванная в том же коридоре.

– Я ее беру. А на месяц не дешевле?

– Пятьдесят долларов. И сорок пять, если платите вперед.

– Хорошо.

Мойков осклабился в ухмылке старого павиана.

– Рюмка водки при заключении договора обязательна. За счет отеля. Водка, кстати, очень хорошая. Я сам ее делаю.

– Мы когда-то тоже делали, в Швейцарии, разводили пятьдесят на пятьдесят с добавлением кусочка сахара и наперстка смородинных почек. Спиртом нас снабжал аптекарь. Водка получалась отменная и дешевле самого отвратного магазинного шнапса. Да, блаженное было времечко, зимой сорок второго.

– В тюрьме?

– В тюрьме в Беллинцоне. К сожалению, только одну неделю. Нелегальное пересечение границы.

– Смородинные почки, – повторил Мойков задумчиво. – А что, хорошая идея! Только где найти в Нью-Йорке смородинные почки?

– Они все равно почти не дают вкуса, – утешил я его. – А идею подарил мне один белорус. Водка у вас и правда очень хорошая.

– Вот и замечательно. В шахматы играете?

– Да, но в тюремные. Не в гроссмейстерские. Беженские шахматы, только чтобы отвлечься от прочих мыслей.

Мойков кивнул.

– Бывают еще языковые шахматы, – заметил он. – Широко здесь практикуются. Шахматы мобилизуют абстрактное мышление, за ними хорошо повторять английскую грамматику. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.

Комната действительно оказалась каморкой, выходила на задний двор, и света в ней было немного. Я заплатил сорок пять долларов и с облегчением поставил чемодан. Освещалась комната из-под потолка парой чугунных светильников, но имелась здесь и маленькая настольная лампа с зеленым абажуром. Я удостоверился, что лампа работает, значит, можно будет оставлять ее на ночь. После кладовки брюссельского музея я ненавижу спать впотьмах. Потом я пересчитал свои деньги. Я понятия не имел, как долго можно прожить в Нью-Йорке на пятьдесят четыре доллара, но меня это нисколько не угнетало. У меня слишком часто не было за душой и сотой доли этой суммы. Как сказал мне незадолго до смерти покойный Зоммер, чьим паспортом я теперь благодарно пользовался: пока ты жив, ничто не потеряно до конца. Даже странно, до какой степени одни и те же слова могут казаться то истиной, а то ложью.

– Вот вам письмо от Роберта Хирша, – сказал мне Мойков, когда я снова спустился вниз. – Он не знал точно, когда вы приедете. Вам лучше всего просто сходить к нему ближе к вечеру. Днем он работает, как и почти всякий здесь.

Работа, подумал я. Легальная! Счастье-то какое! Вот бы и мне так... Мне если и случилось работать, то только по-черному, украдкой, в вечном страхе перед полицией.

III

К Хиршу я отправился уже в полдень. Не хотелось столько ждать. Я легко нашел небольшой магазинчик, в окнах которого были выставлены два репродуктора, электрические утюги, фены для сушки волос и кипятильники; все это горделиво посверкивало сталью и хромом, – но дверь была заперта. Я подождал немного, а потом сообразил, что Роберт Хирш, наверное, ушел на обед. Я разочарованно отвернулся от двери и внезапно сам испытал острый приступ голода. Не зная, как быть, я осмотрелся по сторонам. Очень хотелось поесть, не убухав на это кучу денег. На ближайшем углу я углядел магазинчик, с виду похожий на аптеку. В витрине красовались клизмы, флаконы с туалетной водой и реклама аспирина, но за раскрытой дверью виднелось нечто вроде бара, за стойкой сидели люди и явно что-то ели. Я вошел. Парень в белой куртке нетерпеливо спросил меня из-за стойки:

– Что вам?

Я растерялся, не зная, что ответить. Впервые в Америке мне приходилось самому заказывать себе еду. Я показал на тарелку соседа.

– Гамбургер? – рявкнул парень.

– Гамбургер, – ответил я изумленно. Вот уж не ожидал, что мое первое слово по-английски будет немецким.

Гамбургер оказался сочным и вкусным. Я съел к нему две булочки. Парень опять что-то рявкнул. Я напрочь не понимал, чего он от меня добивается, но увидел, что на тарелке у соседа уже мороженое. Я снова ткнул в его сторону. Сто лет мороженого не ел. Однако парню этого оказалось недостаточно. Он показал на длиннущее табло у себя за спиной и рявкнул еще громче.

Сосед взглянул на меня. У него были лысина и жесткие, будто из конского волоса, усы.

– Какой сорт? – сказал он мне почти по складам, точно ребенку.

– Самый обычный, – ответил я, лишь бы выпутаться.

Усач рассмеялся.

– Тут мороженое сорока двух сортов.

– Что?

Усач показал на табло.

– Выбирайте.

Я разглядел слово «фисташки». В Париже бродячие торговцы продавали фисташки, обходя в кафе столик за столиком. Но такого мороженого я не знал.

– Фисташки, – сказал я. – И кокос.

Я расплатился и не торопясь вышел. Впервые в жизни я ел в аптеке. По дороге к выходу я успел заметить прилавки с лекарствами и рецептурный отдел. Здесь также можно было купить резиновые перчатки, книги и даже золотых рыбок. «Что за страна! – думал я, выходя на улицу. – Сорок два сорта мороженого, война и ни одного солдата на улице!»

Я отправился обратно в гостиницу. Уже издали я различил обшарпанный мраморный фасад, и среди окружающей чужбины он показался мне почти что родиной, пусть и мимолетной. Владимира Мойкова не было видно. Вообще никого. Будто вымерли все. Я прошелся по вестибюлю мимо плюшевой мебели и горестных пальм в кадках. И тут никого. Взял свой ключ, поднялся в комнату и прямо в одежде улегся на кровать вздремнуть. А проснулся, не понимая, где я и что со мной. Что-то мне снилось, какая-то жуть, мерзкая и тягостная. В комнате уже царил розоватый и смутный полумрак. Я встал и выглянул в окно. Внизу двое негров тащили по двору бачки с отбросами. Одна из крышек свалилась и загремела по цементному полу. Я сразу же вспомнил, что мне снилось. Вот уж не думал, что этот кошмар переплывет со мной океан. Я спустился вниз. На сей раз Мойков оказался на месте; сидя за столом в обществе изящной старой дамы, он махнул мне рукой. Было самое время идти к Роберту Хиршу. Я спал дольше, чем предполагал.

Перед магазином Роберта Хирша стояла небольшая толпа. «Несчастье! – подумал я. – Или полиция!» Это первое, о чем наш брат думает. Я уже начал было продираться сквозь толпу, как вдруг услышал чей-то неестественно громкий голос. В окнах теперь торчали три репродуктора, дверь в магазин была распахнута настежь. Голос шел из динамиков. В самом магазине было пусто и темно.

И тут я увидел Хирша. Он стоял на улице среди других слушателей. Я сразу узнал его рыжую продолговатую макушку. Он не изменился.

– Роберт! – тихо сказал я, вплотную подойдя к нему сзади и забыв о раскатах репродукторного трио.

Он меня не услышал.

– Роберт! – крикнул я. – Роберт!

Он вздрогнул, оглянулся, изменился в лице.

– Людвиг! Ты? Ты когда приехал?

– Сегодня утром. Я уже приходил сюда, но никого не было.

Мы пожали друг другу руки.

– Хорошо, что ты здесь, – сказал он. – Это чертовски здорово, Людвиг! Я уж думал, тебя нет в живых.

– А я то же самое думал о тебе, Роберт. В Марселе все тебя похоронили. Нашлись даже очевидцы твоего расстрела.

Хирш рассмеялся.

– Эмигрантские сплетни! Ну ничего, говорят, это к долгой жизни. Хорошо, что ты здесь, Людвиг. – Он кивнул в сторону батареи репродукторов и пояснил: – Рузвельт! Твой спаситель говорит. Давай-ка послушаем.

Я кивнул. Мощный, раскатистый голос и так перекрывал любое изъятие чувств. Да мы и отвыкли от них; на этапах «страстного пути» людям столько раз случалось терять друг друга из вида и находить – или не находить – снова, что деловитая, будничная немногословность встреч и расставаний вошла в привычку. Надо быть готовым умереть завтра – или свидеться через годы. Главное, что сейчас ты жив, этого достаточно. Этого было достаточно в Европе, подумал я. Здесь все иначе. Я был взволнован. Кроме того, я почти ни слова не мог разобрать из того, что говорит президент.

Я заметил, что и Хирш слушает не слишком внимательно. Он пристально наблюдал за собравшимися. Большинство слушали безучастно, но некоторые отпускали замечания. Толстуха с башней белокурых волос презрительно рассмеялась, недвусмысленно постучала себя по лбу и удалилась, покачивая пышными бедрами.

– They should kill that bastard!⁷ – буркнул стоявший рядом со мной мужчина в клетчатом спортивном пиджаке.

– Что значит «kill»? – спросил я у Хирша.

– Убить, – пояснил он с улыбкой. – Прикончить. Это слово надо знать.

Динамики вдруг умолкли.

– Ты ради этого все репродукторы включил? – спросил я. – Принудительное воспитание терпимости?

Он кивнул.

– Моя вечная слабость, Людвиг. Никак от нее не избавлюсь. Только зряшная это затея. Причем где угодно.

Люди быстро разошлись. Остался лишь мужчина в спортивном пиджаке.

– По-каковски это вы говорите? – буркнул он вопросительно. – Немецкий, что ли?

– По-французски, – невозмутимо ответил Хирш. (Мы говорили по-немецки.) – Язык ваших союзников.

– Тоже мне союзнички. Мы за них воюем! Все из-за Рузвельта этого!

Мужчина вразвалку удалился.

– Вечно одно и то же, – вздохнул Хирш. – Ненависть к иностранцам – вернейший признак невежества. – Потом он взглянул на меня. – А ты похудел, Людвиг. И постарел. Но я-то думал, тебя вообще уже нет в живых. Странно, это первое, что думаешь про человека, когда о нем долго не слышишь. А ведь мы не такие старые.

Я усмехнулся.

– Такая уж у нас проклятая жизнь, Роберт.

⁷ Этого ублюдка убить бы надо! (англ.)

Хирш был примерно моих лет – ему тридцать два. Но выглядел гораздо моложе. И фигурой пошуплей, и ростом поменьше.

– Я был твердо уверен, что тебя убили, – проронил я.

– Да я сам распустил этот слух, чтобы легче смыться, – объяснил он. – Было уже пора, самое время.

Мы вошли в магазин, где радио теперь взалхлеб что-то расхваливало. Оказалось, это реклама кладбища. «Сухая, песчаная почва! – разобрал я. – Изумительный вид!» Хирш выключил звук и извлек из маленького холодильника бутылку, стаканы и лед.

– Последний мой абсент, – объявил он. – И самый подходящий повод его откупорить.

– Абсент? – не поверил я. – Настоящий?

– Да нет, не настоящий. Эрзац, как и все. Перно. Но еще из Парижа. Будь здоров, Людвиг! За то, что мы еще живы!

– Будь здоров, Роберт! – Ненавижу перно, оно отдает лакричными леденцами и анисом. – Где же ты потом во Франции был? – спросил я.

– Три месяца скрывался в монастыре в Провансе. Святые отцы были само очарование. Им явно хотелось сделать из меня католика, но они не слишком настаивали. Кроме меня, там прятались еще два сбитых английских летчика. На всякий случай мы все трое щеголяли в рясах. Я не без пользы провел это время, освежая свой английский. Отсюда мой легкий оксфордский акцент – летчики именно там получили образование. Левин вытянул из тебя все деньги?

– Нет. Но те, что ты мне послал, вытянул.

– Отлично! Для этого я тебе их и посылал. – Хирш рассмеялся. – А вот тебе то, что я от него зажал. Иначе он и их захапал бы.

Он достал две пятидесятидолларовые купюры и сунул мне в карман.

– Мне пока не надо! – сопротивлялся я. – У меня своих пока достаточно. Больше, чем когда-либо бывало в Европе! Для начала дай мне попробовать выкручиваться самому.

– Не дури, Людвиг! Мне ли не знать твои финансы. К тому же один доллар в Америке – это половина того, что он стоит в Европе, а значит, и бедняком быть здесь вдвое тяжелей. Кстати, ты что-нибудь слышал о Йозефе Рихтере? Он был еще в Марселе, когда я перебрался в Испанию.

Я кивнул.

– В Марселе его и взяли. Прямо перед американским консульством. Не успел в двери забежать. Сам знаешь, как это бывало.

– Да, знаю, – отозвался он.

Окрестности зарубежных консульств были во Франции излюбленными охотничьими угодьями что для гестапо, что для жандармерии. Ведь именно туда большинство эмигрантов приходили получать выездные визы. Пока они находились в экстерриториальных зданиях самих консульств, они были в безопасности, но на выходе их частенько брали.

– А Вернер? – спросил Хирш. – С ним что?

– Сперва в гестапо изуродовали, потом в Германию увезли.

Я не спросил Роберта Хирша, как ему самому удалось выбраться из Франции. И он меня не спросил. По привычке сработало давнее конспиративное правило: чего не знаешь, того не выдашь. А сможешь ли ты выдержать последние достижения современной пытки – это еще большой вопрос.

– Ну что за народ! – вдруг воскликнул Хирш. – Это же кем надо быть, чтобы так преследовать собственных беженцев! И ты к этому народу принадлежишь...

Он уставился в одну точку. Мы помолчали.

– Роберт, – наконец спросил я. – Кто такой Танненбаум?

Роберт очнулся от своих невеселых мыслей.

– Танненбаум – это еврейский банкир. Уже много лет как здесь обосновался. Богач. И очень великодушен, если его подтолкнуть.

– Понятно. Но кто подтолкнул его помогать мне? Ты, Роберт? Опять принудительное воспитание гуманизма?

– Нет, Людвиг. Это был не я, а добрейшая эмигрантская душа на свете – Джесси Штайн.

– Джесси? Она тоже здесь? Ее-то кто сюда переправил?

Хирш рассмеялся:

– Она сама себя переправила. Причем без чьей-либо помощи. И к тому же с удобствами. Даже с шиком. Она прибыла во Америку, как когда-то Фольберг – в Испанию. Ты еще встретишь здесь много других знакомых. Даже в «Мираже». Не все сгинули, и поймали не всех.

Два года назад Фольберг несколько недель держал в осаде франко-испанскую границу. Ни выездную визу из Франции, ни въездную в Испанию он получить не смог. И пока другие эмигранты пересекали границу, карабкаясь глухими контрабандистскими тропами через горы, отчаявшийся Фольберг, которому альпинизм был уже не по летам, взял напрокат на последние деньги допотопный, но шикарный «роллс-ройс», в бензобаке которого еще оставалось километров на тридцать бензина, и покатил по автострате напрямик к границе. Владелец «роллс-ройса» изображал шофера. По такому случаю он дал Фольбергу напрокат не только авто, но и свой парадный костюм со всеми военными орденами, которые тот, восседая на заднем сиденье, гордо выпячивал. Расчет оправдался. Ни один из пограничников не додумался побеспокоить липового владельца «роллс-ройса» вопросами о какой-то там визе. Зато все, как мальчишки, толклись вокруг мотора, достоинства которого Фольберг им охотно разъяснял.

– Что, Джесси Штайн прибыла в Нью-Йорк тоже на «роллс-ройсе»? – поинтересовался я.

– Да нет. С последним рейсом «Королевы Мэри» перед самой войной. Когда она сошла на берег, срок ее визы истекал через два дня. Но ей продлили на шесть месяцев. И уже который раз продлевают еще на полгода.

У меня даже дыхание перехватило.

– Брось, Роберт. Неужели такое бывает? – не поверил я. – Неужто здесь можно продлить визу? Даже туристическую?

– Только туристическую и можно. Другие продлевать просто не нужно. Это настоящие въездные визы по так называемым квотам, которые через пять лет дают право на получение гражданства. Их выписывают сроком на десять и даже на двадцать лет! С такой квотной визой ты даже имеешь право работать, а с туристической нет. На сколько она у тебя, кстати?

– Восемь недель. Ты что, правда думаешь, что ее можно продлить?

– Почему нет? Левин и Уотсон довольно надежные ребята.

Я откинулся на спинку стула. Как-то я вдруг весь размяк. Впервые за много лет. Хирш взглянул на меня. Потом рассмеялся.

– Давай-ка отметим твое вступление в мещанскую стадию эмигрантской жизни, – заявил он. – Мы пойдем ужинать. Все, Людвиг, кончились этапы страстного пути.

– До завтрашнего утра, – возразил я. – А завтра я отправлюсь на поиски работы и тут же опять вступлю в конфликт с законом. Каково, кстати, в здешних тюрьмах?

– Очень демократично. В некоторых даже радио в камерах. Если в твоей не будет, я тебе пришлю.

– А лагеря для интернированных в Америке есть?

– Да. Но в порядке исключения только для подозреваемых в нацизме.

– Вот это фортель! – Я встал. – И куда же мы пойдем ужинать? В американскую аптеку? Я сегодня в одной такой обедал. Очень здорово. Там тебе и презервативы, и мороженое сорока двух сортов.

Хирш засмеялся:

– Это был драгстор. Нет, сегодня мы пойдем в другое место.

Он запер двери магазина.

– Это твоя, что ли, лавочка? – спросил я.

Он покачал головой.

– Я здесь только обычный рядовой продавец, – сказал он с внезапной горечью в голосе. – Невзрачный лавочник с утра до вечера. Кто бы мог подумать!

Я ничего не ответил. Я-то бы счастлив был, позволь мне кто-нибудь поработать продавцом. Мы вышли на улицу. Стылый закатный багрянец робко заглядывал между домами, будто заблудившийся и вконец продрогший бродяга. Два самолета с мерным жужжанием плыли по ясному небу. Никто не обращал на них внимания, никто не разбежался по подворотням, не падал ничком на асфальт. Двойная цепочка фонарей разом зажглась по всей длине улицы. По стенам домов обезумевшими обезьянами метались вверх-вниз разноцветные вспышки неоновых реклам. В Европе в это время уже стояла бы крошечная тьма, как в угольной шахте.

– Подумать только, тут и в самом деле нет войны, – сказал я.

– Да, – отозвался Хирш. – Войны нет. Никаких руин, никакой опасности, никаких бомбежек – ты ведь об этом, верно? – Он усмехнулся. – Опасности никакой, зато от бездеятельного ожидания выть хочется.

Я взглянул на него. Лицо его снова было замкнуто и ничего не выражало.

– Ну, что-то, а уж это я смог бы выносить довольно долго, – сказал я.

Мы вышли на большую улицу, по всей длине которой красными, желтыми, зелеными бликами весело перемигивались светофоры.

– Мы пойдем в рыбный ресторан, – решил Хирш. – Ты не забыл, как мы последний раз ели рыбу во Франции?

Я рассмеялся:

– Нет, это я хорошо помню. В Марселе. В ресторанчике Бассо в старом порту. Я ел рыбную похлебку с чесноком и шафраном, а ты салат из крабов. Угощал ты. Это была наша последняя совместная трапеза. К сожалению, нам помешали ее завершить: оказалось, в ресторане полиция, и нам пришлось смываться.

Хирш кивнул.

– На сей раз, Людвиг, обойдется без помех. Здесь ты не каждый миг балансируешь между жизнью и смертью.

– И слава Богу!

Мы остановились перед двумя большими, ярко освещенными окнами. Оказалось, это витрина. Рыба и прочая морская живность были выложены здесь на мерцающем насте дробленого льда. Аккуратные шеренги рыб живо поблескивали серебром чешуи, но смотрели тусклыми, мертвыми глазами; разлапистые крабы отливали розовым – уже сварены; зато огромные омары, походившие в своих черных панцирях на средневековых рыцарей, были еще живы. Поначалу это было незаметно, и лишь потом ты замечал слабые подрагивания усов и черных выпученных глаз пуговицами. Эти глаза смотрели, они смотрели и двигались. Огромные клешни лежали почти неподвижно: в их сочленения были воткнуты деревянные шпильки, дабы хищники не покалечили друг друга.

– Ну разве это жизнь, – сказал я. – На льду, распятые, и даже пикнуть не смей. Прямо как эмигранты беспаспортные.

– Я тебе закажу одного. самого крупного.

Я отказался.

– Не сегодня, Роберт. Не хочу свой первый же день ознаменовывать убийством. Сохраним жизнь этим несчастным. Даже столь жалкое существование им, наверное, кажется жизнью, и они готовы ее защищать. Закажу-ка я лучше крабов. Они уже сварены. А ты что будешь?

– Омара! Хочу избавить его от мук.

– Два мировоззрения, – заметил я. – У тебя более жизненное. Мое недостаточно критично.

– Ничего, скоро это изменится.

Мы вошли в ресторан «Дары моря». Нас обдало волной тепла и одуряющим запахом рыбы. Почти все столики были заняты. По залу носились официанты с огромными блюдами, из которых, словно кости после людоедского пиршества, торчали огромные крабы клешни. За одним из столиков, растопырив локти, восседали двое полицейских, присосавшихся к крабым клешням, точно к губным гармошкам. Я непроизвольно попятился, ища глазами выход. Роберт Хирш подтолкнул меня в спину.

– Бегать больше незачем, Людвиг, – сказал он со смешком. – Правда, легальная жизнь тоже требует мужества. Иногда даже большего, чем бегство.

Сидя в красном плюшевом будуаре, который именовался в «Мираже» салоном, я учил английскую грамматику. Было уже поздно, но спать идти не хотелось. В комнатенке по соседству, именовавшейся приемной, тихо хозяйничал Мойков. Спустя некоторое время я услышал, как к дверям кто-то подходит; походка была прихрамывающая. Эта странная, как бы запинаясь в синкопе хромота сразу напомнила мне о ком-то, кого я знал еще в Европе. Но в полутьме разглядеть пришельца не удавалось.

– Лахман! – окликнул я наугад.

Человек остановился.

– Лахман! – повторил я, включая верхний свет. Нехотя, тусклым желтоватым маревом он полился из-под потолка с трехрожковой люстры в стиле модерн. Человек уставился на меня, недоуменно мигая.

– Господи, Людвиг! – воскликнул он наконец. – Давно ли ты здесь?

– Три дня уже. Я тебя по походке узнал.

– По моей проклятой поступи амфибрахием?

– По твоему вальсирующему шагу, Курт.

– Как же ты сюда перебрался? Уж не по визе ли Рузвельта? Или по спискам наиболее ценных, подлежащих спасению представителей европейской интеллигенции?

Я покачал головой:

– Наш брат в этих списках не значится. Не настолько мы, бедолаги, знамениты.

– Я-то уж точно, – подтвердил Лахман.

Вошел Мойков.

– Так вы знакомы?

– Да, – ответил я. – Знакомы. Давно. И по многим тюрьмам.

Мойков снова выключил верхний свет и принес бутылку.

– Самый подходящий повод пропустить рюмашку, – заметил он. – Праздники надо отмечать в порядке их поступления. Водка за счет отеля. У нас тут гостеприимство.

– Я не пью, – отказался Лахман.

– И очень правильно! – одобрил Мойков, наливая только мне. – Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться и часто праздновать встречи, – заявил он. – К тому же это дарит иллюзию долгой жизни.

Ни Лахман, ни я ничего на это не ответили. Мойков был другого поколения – из тех, кто в семнадцатом бежал из России. То, что в нас еще полыхало пламенем, в нем давно уже улеглось пеплом легенды.

– Ваше здоровье, Мойков! – сказал я. – И почему мы не родились йогами? Или в Швейцарии?

Лахман горько усмехнулся:

– Да хотя бы не евреями в Германии, и то хорошо!

– Вы передовой отряд граждан мира, – невозмутимо возразил Мойков. – Вот и ведите себя как настоящие первопроходцы. Вам еще памятники будут ставить.

И пошел к стойке выдать кому-то ключ.

– Остряк, – сказал Лахман, глядя ему вслед. – Ты для него что-нибудь делаешь?

– В каком смысле?

– Водка, героин, тотализатор, ну и прочее?

– Он этим занимается?

– Говорят.

– Ты за этим и пришел?

– Нет. Но прежде я тоже тут ютился. Как и почти всякий новоприбывший.

Подарив мне взгляд заговорщика, Лахман уселся рядом.

– Понимаешь, все дело в одной женщине, она тут живет, – зашептал он. – Представь себе: пуэрториканка, сорок пять лет, одна нога не ходит, она под машину попала. У нее сожитель есть, сутенер-мексиканец. Так вот, этот мексиканец готов за пять долларов предоставить нам ложе. У меня больше есть! Так она не хочет! Слишком набожная. Прямо беда! Она верна ему. Он ее за это колотит, а она все равно не соглашается. Она уверена, что Бог смотрит на нее из облака. Даже ночью. Я ей внушаю, что у Бога близорукость, причем давно. Какое там! Но деньги берет! И все обещает! Деньги отдает сутенеру. А обещанного не исполняет и смеется. И обещает снова. Я с ума от нее сойду! Просто наказание!

Лахман страдал комплексом своей хромоты. Говорят, в прежние времена в Берлине он был большим ходоком по части женщин. Так вот, боевая группа штурмовиков, прослышав про это, однажды затащила его в свой кабак, намереваясь оскопить, чему, по счастью, – это было еще в тридцать третьем – помешала подроспевшая полиция. Лахман отделался выбитыми зубами, шрамами на мошонке и переломами ноги в четырех местах, которые неправильно срослись, потому что больницы тогда уже отказывались принимать евреев. С тех пор он хромотал и питал слабость к женщинам, страдающим, как и он, легкими физическими изъянами. Лахмана устраивала любая, лишь бы зад у нее был крепкий и округлый, как орех. Он утверждал, что в Руане познал женщину с тремя грудями. Это оказалась роковая любовь его жизни. Его там дважды залавливала полиция и высылала в Швейцарию. С целеустремленностью маньяка он вернулся туда в третий раз – так самец павлиноглазки находит свою самочку за много километров и даже в проволочной сетке коллекционера. На сей раз его упрятали в Руане на месяц в тюрьму, а потом снова выдворили. Он бы тупо направился туда же и в четвертый раз, не вступи во Францию немцы. Так Гитлер, сам того не зная, спас еврею Лахману жизнь...

– Ты ничуть не изменился, Курт, – сказал я.

– Человек вообще не меняется, – мрачно возразил Лахман. – Когда его совсем прижмет, он клянется начать праведную жизнь, но дай ему хоть чуток вздохнуть, и он разом забывает все свои клятвы. – Лахман и сам вздохнул. – Одного не пойму, геройство это или идиотизм?

– Геройство, – утешил я его. – В нашем положении надо украшать себя только доблестями.

Лахман отер пот со лба. У него была голова тюленя.

– Да и ты все тот же. – Он снова вздохнул и достал из кармана нечто завернутое в подарочную бумагу. – Четки, – пояснил он. – Я этим торгую. Реликвии и амулеты. А также иконки, фигурки святых, лампадки, освященные свечи. Вхож в самые узкие католические круги. – Лахман приподнял четки. – Чистое серебро и слоновая кость, – похвастался он. – Освящены самим папой. Как ты думаешь, это ее сломит?

– Каким папой?

Он растерялся.

– Как каким? Пием. Пием Двенадцатым, кем же еще?

– Лучше бы Бенедиктом Пятнадцатым. Во-первых, он умер, а это всегда повышает ценность, как с почтовыми марками. Во-вторых, он не был фашистом.

– Опять ты со своими дурацкими шуточками! А я и забыл совсем. В последний раз в Париже...

– Стоп! – сказал я. – Только без воспоминаний!

– Как хочешь. – Лахман немного поколебался, но потом жажда сообщения все же взяла верх. Он развернул еще один сверток. – Обломок смоковницы из Гефсиманского сада, из Иерусалима! Подлинный, со штампом и письменным подтверждением! Если уж это ее не размягчит, тогда что? – Он смотрел на меня умоляюще.

Я с увлечением разглядывал вещицы.

– И много это приносит? – любопытствовал я. – Ну, торговля всем этим?

Лахман вдруг насторожился.

– Ровно столько, чтобы не подохнуть с голода, а что? Или ты решил составить мне конкуренцию?

– Да простое любопытство, Курт, и больше ничего.

Он взглянул на часы.

– В одиннадцать я должен за ней зайти. Ругай меня! – Он встал, поправил галстук и заковылял вверх по лестнице. Потом вдруг еще раз оглянулся. – Что я могу поделать? – жалобно простонал он. – Такой уж я страстный человек! Просто напасть какая-то! Вот увидишь, я когда-нибудь умру от этого! Но что еще остается?

Я захлопнул свою грамматику и откинулся в кресле. С моего места хорошо просматривался кусок улицы. Дверь была раскрыта, должно быть, по причине жары, и свет фонаря над аркой входа проникал снаружи в холл, выхватывая из темноты угол стойки и утыкаясь в черный проем лестницы. В зеркале напротив повисла серая муть, тщетно силясь отлить серебром. Я бессмысленно на нее таранился. Красные плюшевые кресла казались сейчас, против света, почти фиолетовыми, и на какой-то миг мне вдруг почудилось, что пятна на них – это потеки запекшейся крови. Где же я видел все это? Кровь, запекшиеся пятна, небольшая комната, за окнами которой ослепительно рдеет закат, отчего все предметы в комнате стали как будто бесцветными и тонут в странной бесплотной дымке, где смешалось серое, черное, вот такое же темно-красное и фиолетовое. Скрюченные, окровавленные тела на полу и лицо за окном, которое внезапно отворачивается, отчего одну его половину разом высвечивают косые лучи закатного солнца, тогда как другая остается чернеть в тени. И высокий гнусавый голос, который скучливо произносит:

– Продолжайте! Следующего берем!

Быстро встав, я снова включил верхний свет. И только после этого огляделся. Тусклый желтоватый свет люстры засочился вниз, неохотно и скудно освещая кресла и плюшевую софу, все такие же аляповатые и бордовые. Нет, это не кровь. Я посмотрел в зеркало; в нем отражалась только стойка у входа – и ничего больше.

– Нет, – громко сказал я. – Нет! Только не здесь!

Я подошел к стойке. Стоявший за ней Мойков поднял на меня глаза.

– Не хотите сыграть партию в шахматы?

Я покачал головой.

– Попозже. Хочу еще немного пройтись. На витрины поглазеть, на все это нью-йоркское освещение. В Европе в это время бывало темно, как в угольной шахте.

Мойков взглянул на меня с сомнением.

– Только не пытайтесь приставать к женщинам, – предупредил он. – Могут и полицию позвать. Нью-Йорк – это вам не Париж. Европейцы обычно об этом забывают.

Я остановился.

– Что же, в Нью-Йорке нет проституток?

Складки на лице Мойкова углубились.

– Только не на улице. Там их гоняет полиция.

– Тогда в борделях?

– Там полиция их тоже гоняет.

– Тогда как же американцы размножаются?

– В честном буржуазном браке под присмотром всемогущественных женских союзов.

Признаться, я был изумлен. Похоже, в Америке проституток преследовали не меньше, чем в Европе эмигрантов.

– Я буду осмотрителен, – пообещал я. – Да и английский у меня не тот, чтобы с женщинами заигрывать.

Я вышел на улицу, которая распростерлась передо мной во всей своей стерильной непорочности. В этот час в Париже проститутки цокали по тротуарам на своих высоких каблучках либо стояли в полутьме под синими фонарями бомбоубежищ. Их живучее племя не ведало страха даже перед гестапо. Они же оказывались случайными спутницами нашего брата беженца, когда тот, одурев от одиночества и самого себя, наскребал немного денег на скоротечный час безличной покупной ласки. Я смотрел на прилавки деликатесных магазинов, что ломились от изобилия ветчин, колбас, сыров, ананасов. «Прощайте, милые подружки парижских ночей! – думал я. – Судя по всему, мне уготованы здесь муки анахорета и услады рукоблудия!»

Я остановился перед магазинчиком, на картонной вывеске которого значилось: «Горячие пастроми». Это была лавочка деликатесов. Даже в этот поздний час дверь была открыта. Похоже, в Нью-Йорке и впрямь нет комендантского часа.

– Порцию горячих пастроми, – твердо сказал я.

– Он гуте?⁸ – Продавец показал на черный хлеб.

Я кивнул.

– И с огурцом. – Я ткнул в маринованный огурец.

Продавец придвинул ко мне тарелку. Я уселся на высокий табурет возле стойки и принялся за еду. Я понятия не имел, что такое пастроми. Оказалось, это горячее консервированное мясо, очень вкусное. Все, что я ел в эти дни, было невероятно вкусно. К тому же я постоянно был голоден и ел с удовольствием. На острове Эллис вся еда имела какой-то странный привкус; поговаривали, что туда добавляют соду – для подавления полового инстинкта.

Кроме меня, за стойкой сидела еще только очень хорошенькая девушка. Сидела так тихо, что казалось, лицо у нее из мрамора. Покрытые лаком волосы гладко облегли ее точеную головку египетского сфинкса. Она была сильно накрашена. В Париже я бы решил, что это проститутка; там только шлюхи так красятся.

Мне вспомнился Хирш. Я был у него сегодня после обеда.

– Тебе нужна женщина, – убеждал он меня. – И как можно скорее! Ты слишком долго был один. Лучше всего найди себе эмигрантку. Она тебя поймет. С ней ты сможешь разговаривать. Хочешь по-немецки, хочешь по-французски. Да и по-английски тоже. Одиночество – это болезнь, очень гордая и на редкость вредная. Мы с тобой свое отболели.

– А американку? – спросил я.

– Пока лучше не надо. Через несколько лет – может быть. Не добавляй себе лишних комплексов, у тебя своих достаточно.

Я заказал себе еще и порцию шоколадного мороженого. Вошли двое гомосексуалистов с парой абрикосовых пуделей, купили сигарет и пирожных с кремом. Все-таки чудно, подумал

⁸ С черным? (англ.)

я. Все ждут, что я стану прямо бросаться на женщин; а у меня и желания-то нет. Непривычный свет ночных улиц возбуждает меня куда больше.

Я медленно побрел обратно к гостинице.

– Ну что, не нашли? – поинтересовался Мойков.

– Да я и не искал.

– Тем лучше. Коли так, можно без помех сыграть тихую партию в шахматы. Или вы устали?

Я покачал головой.

– На свободе не так быстро устаешь.

– Это кто как, – возразил Мойков. – Обычно эмигранты, прибыв сюда, прямо на глазах разваливаются и сутками только и знают, что спать. Должно быть, реакция организма на долгожданную безопасность. У вас нет?

– Нет. По крайней мере, я ничего такого не чувствую.

– Значит, еще накатит. Никуда не денетесь.

– Ну и ладно.

Мойков принес шахматы.

– Лахман уже ушел? – спросил я.

– Нет еще. По-прежнему наверху у своей ненаглядной.

– Думаете, сегодня ему повезет?

– С чего вдруг? Она потащит его ужинать вместе со своим мексиканцем, а он за всех заплатит. Он что, всегда такой был?

– Он уверяет, что нет. Говорит, что приобрел этот комплекс вместе с хромотой.

Мойков кивнул.

– Может быть, – сказал он задумчиво. – Впрочем, мне все это безразлично. Вы даже представить не можете, сколько всего становится человеку безразлично в старости.

– А вы давно здесь?

– Двадцать лет.

Краем глаза я заметил в дверях какую-то легкую тень. Чуть подавшись вперед, там стояла молодая женщина и смотрела на нас. Строгий овал бледного лица, ясный и твердый взгляд серых глаз, рыжие волосы, которые почему-то показались мне крашеными.

– Мария! – Мойков от неожиданности вскочил. – Когда же вы вернулись?

– Вчера.

Я тоже встал. Мойков чмокнул девушку в щечку. Ростом она оказалась чуть ниже меня. На ней был узкий, облегающий костюм. Голос низкий и с хрипотцой, как будто чуть надтреснутый. Меня она не замечала.

– Водки? – спросил Мойков. – Или виски?

– Лучше водки. Но на мизинец, не больше. Мне надо бежать. У меня еще сеанс.

Говорила она очень быстро, почти захлеб.

– Так поздно?

– Фотограф только в это время свободен. Платья и шляпки. Очень маленькие. Прямо крохотульки.

Тут я заметил, что на ней и сейчас шляпка, вернее, очень маленький берет, этакая черненькая финтифлюшка, косо сидящая в волосах.

Мойков пошел за бутылкой.

– Вы ведь не американец? – спросила девушка по-французски. Она и с Мойковым по-французски говорила.

– Нет. Я немец.

– Ненавижу немцев, – отрезала она.

– Я тоже, – ответил я.

Она вскинула на меня глаза.

– Я не то имела в виду! – выпалила она смущенно. – Не вас лично.

– Я тоже.

– Вы не должны сердиться. Это все война.

– Да, – отозвался я как можно равнодушной. – Это все война, я знаю.

Уже не в первый раз меня оскорбляли из-за моей национальности. Во Франции это случилось сплошь и рядом. Война и вправду золотое время для простых обобщений.

Мойков вернулся, неся бутылку и три маленькие стопочки.

– Мне не нужно, – сказал я.

– Вы обиделись? – спросила девушка.

– Нет. Просто пить не хочу. Надеюсь, вам это не мешает.

Мойков понимающе ухмыльнулся.

– Ваше здоровье, Мария! – сказал он, поднимая рюмку.

– Напиток богов, – вздохнула девушка и опустошила рюмку одним махом, резко, как пони, запрокинув голову.

Мойков схватился за бутылку.

– Еще по одной? Рюмочки-то малюсенькие.

– Grazie⁹, Владимир. Достаточно. Мне надо бежать. Au revoir!¹⁰

Она протянула мне руку.

– Au revoir, monsieur¹¹.

Рукопожатие у нее оказалось неожиданно крепкое.

– Au revoir, madame¹².

Мойков, вышедший ее проводить, вернулся.

– Она вас разозлила?

– Да нет. Я сам все спровоцировал. Мог бы сказать, что у меня австрийский паспорт.

– Не обращайтесь внимания. Она не хотела. Просто говорит быстрее, чем думает. Она поначалу почти каждого исхитряется разозлить.

– Правда? – спросил я, почему-то только сейчас начиная злиться. – Вроде бы не такая уж она и красавица, чтобы так заноситься.

Мойков усмехнулся.

– Сегодня у нее не лучший день, но чем дольше ее знаешь, тем больше она располагает к себе.

– Она что, итальянка?

– Вроде того. Зовут ее Мария Фиола. Помесь, как и почти все здесь; мать, по-моему, была то ли испанской, то ли русской еврейкой. Работает фотомodelью. Раньше жила здесь.

– Как и Лахман, – заметил я.

– Как Лахман, как Хирш, как Лёвенштайн и многие другие, – с готовностью подтвердил Мойков. – Здесь у нас дешевый интернациональный караван-сарай. Но все-таки это на разряд выше, чем национальные гетто, где поначалу обычно поселяются новоприбывшие.

– Гетто? Здесь они тоже есть?

– Их так называют. Просто многих эмигрантов тянет жить среди земляков. Зато дети потом мечтают любой ценой вырваться оттуда.

– Что, и немецкое гетто тоже есть?

⁹ Спасибо (*ит.*).

¹⁰ До свиданья! (*фр.*)

¹¹ До свиданья, месье (*фр.*).

¹² До свиданья, мадам (*фр.*).

– А как же. Йорквилл. Это в районе Восемьдесят шестой улицы, где кафе «Гинденбург».

– Как? «Гинденбург»? И это во время войны?

Мойков кивнул.

– Здешние немцы иной раз похлеще нацистов.

– А эмигранты?

– Некоторые тоже там живут.

На лестнице раздались шаги. Я тотчас же узнал хромающую поступь Лахмана. Ее сопровождал глубокий, очень мелодичный женский голос. Должно быть, пуэртиориканка. Она шла впереди Лахмана, не слишком заботясь о том, поспевает ли за ней ее обожатель. Не похоже было, что у нее парализованная нога. Говорила она только с мексиканцем, который вел ее под руку.

– Бедный Лахман, – сказал я, когда вся группа удалилась.

– Бедный? – не согласился Мойков. – Почему? У него есть то, чего у него нет, но что он хотел бы пополучить.

– И то, что остается с тобой навсегда, верно?

– Беден тот, кто уже ничего не хочет. Не хотите ли, кстати, выпить рюмочку, от которой недавно отказались?

Я кивнул. Мойков налил. На мой взгляд, расходовал он свою водку как-то уж слишком расточительно. И у него была очень своеобразная манера пить. Маленькая стопка полностью исчезала в его громадном кулаке. Он не опрокидывал ее залпом. Мечтательно поднеся руку ко рту, он медленно проводил ею по губам, и только затем в его длани обнаруживалась уже пустая стопка, которую он бережно ставил на стол. Как он ее выпил, понять было нельзя. После этого Мойков снова открывал глаза, и в первый миг казалось, что они у него совсем без век, как у старого попугая.

– Как теперь насчет партии в шахматы? – спросил он.

– С удовольствием, – сказал я.

Мойков принялся расставлять фигуры.

– Самое замечательное в шахматах – это их полная нейтральность, – заявил он. – В них нигде не прчется проклятая мораль.

IV

Всю следующую неделю мой второй, нью-йоркский возраст стремительно прогрессировал. Если во время первой прогулки по городу мои познания в английском соответствовали уровню пяти-шестилетнего ребенка, то неделю спустя я находился уже примерно на девятом году жизни. Каждое утро я проводил несколько часов в гостиничном холле, в красном плюшевом кресле с английской грамматикой в руках, а после обеда старался не упустить любую возможность мучительного, косноязычного общения. Я знал: мне обязательно нужно научиться хоть как-то изъясняться еще до того, как у меня кончатся деньги, – без этого я просто не смогу зарабатывать. Это был краткий языковый курс наперегонки со временем, к тому же весьма ограниченным. Так в ходе обучения у меня последовательно появлялся французский, немецкий, еврейский, а под конец, когда я уже наловчился уверенно различать чистокровных американок среди официанток и горничных, даже бруклинский акцент.

– Надо тебе завести роман с учительницей, – советовал Мойков, с которым мы тем временем перешли на «ты».

– Из Бруклина?

– Из Бостона. Говорят, там лучший английский во всей Америке. Здесь-то, в гостинице, акценты кишат, как тифозные бактерии. У тебя, похоже, хороший слух только на крайности,

норму, к сожалению, ты вообще не слышишь. А так чуток эмоций, и дело, глядишь, веселее пошло бы.

– Владимир, – урезонивал я его, – я и так достаточно стремительно развиваюсь. Каждый день мое английское «я» взрослеет чуть ли не на год. К сожалению, при этом и мир вокруг теряет обаяние волшебства. Чем больше слов я понимаю, тем дырявее покров неизведанности. Надменные небожители из драгсторов мало-помалу превращаются в заурядных торговцев сосисками. Еще несколько недель, и оба моих «я» сравняются. Тогда, вероятно, и наступит окончательное прозрение. Нью-Йорк перестанет казаться сразу Пекином и Багдадом, Афинами и Атлантидой, а будет только Нью-Йорком, и мне, чтобы вспомнить о южных морях, придется тащиться в Гарлем или в китайский квартал. Так что лучше уж ты меня не торопи. И с акцентами тоже. Неохота мне так уж быстро расставаться со своим вторым детством.

Вскоре я уже хорошо знал все антикварные магазины и лавочки на Второй и Третьей авеню. Людвиг Зоммер, чей паспорт обрел во мне своего второго владельца, при жизни был антикваром. Я побывал у него в обучении, а он свое дело знал хорошо.

В этой части Нью-Йорка были сотни подобных магазинчиков. Больше всего я любил совершать такие экскурсии под вечер. Об эту пору солнце уже заглядывало сюда как бы искоса, и казалось, сквозь витрины на другой стороне улицы оно заталкивает в лавочки белесые призмы пыли, словно факир, бесшумно проникающий сквозь стекло, как сквозь тихую воду. Тогда, будто по таинственному приказу, старинные зеркала на стенах разом оживали, заполняясь серебристыми омутами пространства. Только что они были подслеповатыми пятнистыми плоскостями – и вдруг становились окнами в бесконечность, погружая в себя многоцветные туманности картин с противоположного тротуара.

Словно по мановению мага, витрины, эти скопища запыленной рухляди и допотопного хлама, вдруг оживали. Ведь обычно казалось, что время остановилось, жалобно замерло в них, что они как бы отрезаны от всей это бурной уличной жизни, которая течет мимо, никак их не затрагивая. Витрины стояли неживые, потухшие, будто старинные печи, которые уже никого не греют, но все еще силятся создать хотя бы видимость бывшего тепла. Они были мертвы – однако тем безболезненным и нескорбным омертвением, каким остается в нас пережитое, утратившее свой трагизм прошлое: воспоминаниями, которые уже не причиняют и, вероятно, никогда не причинят боли. За их стеклами, будто диковинные рыбы, жили своей бесшумной жизнью антиквары – то вяло блеснув толстыми окулярами очков и просунув сазанью голову между одеяниями китайских мандаринов, то невозмутимо восседая под старинными гобеленами в окружении лакированных тибетских демонов с детективным романом или газетой в руках.

Но все это разом преображалось, едва золотистые косые лучи предвечернего солнца охватывали правую сторону авеню своим медовоцветным волшебством, в то время как витрины напротив уже начинали затягиваться мгlistой паутиной вечерних сумерек. Это был миг, когда мягкий свет уходящего дня сообщал лавчонкам обманчивую видимость жизни, обволакивая их заемным мерцанием призрачного зазеркалья, где они разом просыпались – словно рисованные часы над лавкой часовщика в ту секунду, когда время, запечатленное на них, вдруг ненадолго совпадает с действительным.

* * *

Дверь антикварного магазинчика, перед которым я стоял, внезапно распахнулась. Из нее бесшумно вышел худенький невысокий человечек с орлиным носом и в зеленоватых брюках в мелкую клеточку. Видимо, он уже давно наблюдал за мной.

– Славный вечерок, правда? – заговорил он.

Я кивнул. Он продолжал меня разглядывать.

– Вам что-нибудь понравилось в витрине? – спросил он.

Я показал на бронзовую китайскую вазу, которая стояла на псевдовенецианском постаменте.

– Это что?

– Бронзовая ваза, Китай. Совсем недорого. Да вы зайдите, взгляните.

Я последовал за ним. Продавец достал вазу с витрины.

– Она старинная?

– Не очень. – Он посмотрел на меня чуть пристальнее. – Это копия старинного оригинала. Эпоха Мин¹³, я так полагаю.

– И сколько же она может стоить? – Я как можно безразличнее смотрел на улицу. «Александр Силвер и К», прочел я задом наперед на стекле витрины.

– Пятьдесят долларов – и она ваша, – сказал Александр Силвер. – И резная подставка тикового дерева в придачу. Ручная работа.

Я взял бронзу в руки. Она была хороша. Рельефы хотя и резкие, но не производили впечатления новых; патина не была отполирована и потому не имела того мерцающего бледно-зеленого отлива, которым отличаются большие вазы в музеях. Малахитовых инкрустаций на ней тоже не было. Я закрыл глаза и начал долго, медленно ощупывать вазу. Я частенько проделывал то же самое в Брюсселе. В приютившем меня музее была очень приличная коллекция бронзы эпохи Чжоу¹⁴. Там и ваза похожая была, и про нее тоже думали сначала, что это копия эпохи Тан¹⁵ или Мин. Что и неудивительно. Китайцы еще в эпоху Хань¹⁶, как раз на рубеже нашей эры, начали подделывать старинную бронзу эпох Инь¹⁷ и Чжоу, закапывая новые изделия в землю, дабы скорее придать их патине оттенок подлинной старины. Всем этим тонкостям меня еще Зоммер обучил. Ну, а кое-чему я и сам уже в Брюсселе доучился.

Силвер все еще наблюдал за мной.

– Вы уверены, что это на самом деле копия эпохи Мин? – спросил я.

– Я мог бы сказать и «нет», – ответил он. – Но мы работаем честно. Я вижу, вы разбираетесь. – Он поставил ногу на низенький голландский стул. Только тут я заметил, что клетчатые штаны сочетаются в его туалете с лакированными туфлями и лиловыми носками. – Я купил эту вещь как копию восемнадцатого века, – продолжал он. – Это, конечно, не так, но она не старше шестнадцатого. Нашей эры, разумеется.

Я поставил бронзу обратно на псевдовенецианский постамент. Она стояла очень дешево, и я приобрел бы ее с радостью, но мне было невдомек, кому ее перепродать, а инвестировать свои скудные средства я мог только в краткосрочные сделки. Кроме того, я должен быть твердо уверен, что не ошибся.

– А нельзя ли мне забрать ее на день? – спросил я.

– Вы можете забрать ее хоть на всю жизнь. За пятьдесят долларов.

– Нет, на пробу. На сутки.

– Послушайте, дорогой мой, – сказал Александр Силвер. – Я ведь вас совсем не знаю. В последний раз я вот так же отдал одной внушающей безусловное доверие даме две изумительные фарфоровые статуэтки. Мейсенский фарфор, восемнадцатый век. Тоже на пробу.

– И что? Дама так и не вернулась?

– Вернулась. С расколотыми статуэтками. В переполненном омнибусе какой-то работяга ящиком с инструментами выбил их у нее из рук. Она рыдала так, будто потеряла ребенка. А

¹³ Мин – китайская императорская династия в 1368–1644 гг.

¹⁴ Чжоу – название эпохи в истории Древнего Китая и китайской династии в 1027–256 гг. до н. э.

¹⁵ Тан – китайская императорская династия в 618–907 гг. н. э.

¹⁶ Хань – китайская императорская династия в 206 г. до н. э. – 220 г. н. э.

¹⁷ Инь – древнекитайское государство в XIV–XI вв. до н. э.

что мы могли поделаться? Денег у нее нет. Просто хотела пустить пыль в глаза подружкам по бриджу. Пришлось списать в убытки.

– Бронза так легко не бьется. Особенно если это копия.

Силвер стрельнул в меня взглядом.

– Я вам даже скажу, где я ее купил. Ее выбраковали в одном провинциальном музее. Как копию. Где вы видели подобную честность?

Я молчал. Силвер мотнул головой.

– Хорошо! – сказал он. – Вы настойчивы, и мне это нравится. Я вам предлагаю другое решение. Вы платите пятьдесят долларов, забираете бронзу и можете вернуть мне ее через неделю. Я возвращаю вам деньги. Либо вы оставляете бронзу себе. Что скажете?

Я лихорадочно соображал. Полной уверенности у меня не было – с китайской бронзой это почти всегда так. Да и откуда мне было знать, сдержит Силвер свое слово или обманет. Но где-то же надо рискнуть, а тут возможность сама плыла в руки. Ведь здесь, в Америке, я даже посудомойщиком устроиться не могу – и на такую работу нужно иметь разрешение, а у меня его нет. Даже пытаться бесполезно: если полиция не сцапает, так профсоюзы донесут.

– Идет! – решил я и полез за своим тощим бумажником.

Брюссельский музей, где мне пришлось прятаться, располагал очень богатым собранием китайской бронзы. Вечерами, когда музей закрывался, директор на всю ночь выпускал меня из кладовки. Мне, правда, не разрешалось зажигать свет и подходить близко к окнам, зато можно было ходить в туалет и вообще разгуливать по музею сколько угодно. Рано утром, до прихода уборщиц, я должен был снова запереться. Странное это было приобщение к искусству, уединенное, призрачное и пугающее. Сперва я вообще только прятался за портьерами, глаза на ночную улицу, – точно так же потом, с острова Эллис, я разглядывал ночной Нью-Йорк. Но, приметив однажды среди солдатни и штатской публики черные эсэсовские мундиры, я это занятие бросил. Стараясь впредь как можно меньше думать о своем положении, я принялся в тусклых ночных отсветах изучать картины и художественные собрания музея. Практика, приобретенная в Париже у Людвиг Зоммера, когда я работал на него носильщиком, сослужила мне добрую службу. Кроме того, в Германии я как-никак два семестра изучал историю искусств, прежде чем решил посвятить себя журналистике. Конечно, после изгнания на журналистике пришлось поставить крест: ни одним иностранным языком я не владел настолько, чтобы на нем писать. Теперь же, коротая гробовую тишину ночи в пустых, отзывающихся гулким эхом залах музея, я старался пробудить в себе истовый интерес к искусству, чтобы поменьше думать о собственной участи. Я знал: если буду продолжать глазеть на улицу – мне крышка. Надо было двигаться, как-то себя развлекать. И первым, что меня всерьез захватило, оказалась коллекция китайской бронзы. Светлыми лунными ночами я принялся ее изучать. Она мерцала, как нефрит, матово отливая зеленью и голубизной блеклого шелка. Вместе с переменами зыбкого ночного освещения менялись и оттенки патины. В эти месяцы я научился понимать: надо уметь долго смотреть на вещи, прежде чем они с тобой заговорят. Конечно, я научился этому от отчаяния, силясь во что бы то ни стало победить страх, и долгое время это упорное глазение было всего лишь бегством от самого себя, покуда в одну из ночей, при ясном свете умытого весенней грозой лунного полумесяца, вдруг не обнаружил, что впервые начисто позабыл о своем страхе и на несколько мгновений как бы слился с этой бронзой. Меня ничто больше от нее не отделяло, и на короткое время, пока длилось это чудо, рядом со мной ничего не было – только эта беспокойная ночь, безмолвная бронза, лунный свет, который так ее оживлял, и что-то еще в ней, должно быть, ее душа, которая была тут, подле меня, тихо жила, дышала и слушала, тоже на миг позабыв о своем «я». С тех пор мне все чаще удавалось вот так забываться, напрочь убегая от самого себя. А еще через пару недель директор принес мне карманный фонарик, чтобы я не сидел по ночам в своей кладовке совсем уж впотьмах. Должно быть, он понял, что мне можно доверять и что у меня хватит ума пользоваться этим

фонариком только в кладовке, а не в музейных залах. А для меня это была такая радость, будто мне вернули дар зрения. И чтения. Теперь я мог выискивать в библиотеке книги и брать их на ночь в кладовку. А к утру относил обратно. Когда же директор заметил мой интерес к бронзе, он разрешил мне иногда забирать с собой в кладовку какой-нибудь из экспонатов, который утром, когда он приносил бутерброды, я ему возвращал. О том, что я прячусь в музее, кроме него знал еще только один человек – его дочь Сибилла. Как-то директор заболел и в музей прийти не смог, вот и пришлось ему все ей рассказать. Сибилла приходила в музей за отцовской почтой и приносила мне бутерброды в пергаментной бумаге, пряча их у себя между грудей. Иногда они еще хранили тепло ее кожи, а от бумаги веяло едва слышным ароматом гвоздики. Я был страстно влюблен в Сибиллу, но это была почти анонимная любовь, о которой девушка, вероятно, почти не догадывалась. Я любил в ней то, чего сам поневоле лишился: свободу, беззаботность, трепет надежды и сладостное томление юности, которого во мне больше не было. Совместную жизнь с ней я вообразить не мог: она была для меня слишком символична; это был теплый, близкий, но все равно недостижимый символ всего, что я давно утратил. Моя юность оборвалась вместе с предсмертными криками отца. Он кричал весь день, и я знал, по чьему приказу его убивают.

– Ты хоть что-нибудь смыслишь в этом деле? – беспокоился Мойков. – Пятьдесят долларов – приличные деньги.

– Не слишком много, но кое-что. А кроме того, что мне еще остается? Надо же с чего-то начинать.

– Где ты этому научился?

– В Париже и в одном музее в Брюсселе.

– Что, работал? – с изумлением спросил Мойков.

– Прятался.

– От немцев?

– От немцев, которые вошли в Брюссель.

– Чем же ты там еще занимался?

– Французский учил, – ответил я. – У меня был учебник грамматики. Как и сейчас. Летом, когда музей закрывали, было еще не темно. А потом мне выдали карманный фонарик. Мойков понимающе кивнул.

– И что же, музей не охраняли?

– От кого? От немцев? Они бы и так взяли что захотели!

Мойков рассмеялся.

– Да уж, жизнь, она чему только не научит. Я, когда в Финляндию бежал, почти случайно прихватил с собой карманные шахматы. Пока прятался, играл сам с собой почти непрерывно, лишь бы отвлечься. И постепенно стал вполне приличным шахматистом. Потом, в Германии, шахматы меня кормили. Уроки давал. Вот уж не думал, не гадал. И ты всегда занимался антиквариатом?

– Примерно так же, как ты шахматами.

– Я так и думал.

Не мог же я ему рассказать про Зоммера и про мой фальшивый паспорт. В паспорте, кстати, было указано, что Зоммер по профессии антиквар, и на острове Эллис какой-то инспектор даже меня экзаменовал. Я выдержал экзамен: очевидно, у Зоммера и в Брюсселе я и вправду кое-чего поднабрался. Причем решающими оказались именно мои познания в китайской бронзе. Как ни странно, инспектор, по счастью, тоже кое-что в ней смыслил. Верующие христиане, вероятно, сочли бы случайную общность наших интересов милосердной волей providения.

С улицы я еще издали слышал характерную припрыжку Лахмана. Мойкова позвали к телефону. Лахман, ковыляя, ввалился в плюшевый будуар. Он тут же углядел мою бронзу.

– Купил? – спросил он с порога.

– И да, и нет.

– Промашка, – категорично заявил он. – Сразу видно, что ты новичок. В торговле надо начинать с малого. С мелких вещей, которые нужны каждому. Носки, мыло, галстуки...

– Четки, иконки, – подхватил я. – Особенно еврею, как ты.

Он отмахнулся:

– Это совсем другое. Для этого дар нужен. А у тебя какой дар? Так, нужда одна! Впрочем, о чем это я? – Он воззрился на меня горящим взором. – Все впустую, Людвиг! Она все забрала и сказала, что будет с этими святынями по вечерам за меня молиться! Мне-то что от ее молитв! При этом зад у нее как у королевы! Все попусту! Теперь она хочет иорданскую воду. Воду из святой реки Иордан! Где, спрашивается, я ее достану? Просто сумасшедшая какая-то! Ты, случайно, не знаешь, где достают иорданскую воду?

– Из водопровода.

– Что?

– Старая бутылка, немного пыли и сургучная пробка. В Бордо двое мелких мошенников держали фирму и продавали таким манером святую воду из Лурда. Бутылка по пять франков шла. Именно так. Из водопровода. Я сам в газете читал. Их даже не посадили. Только посмеялись.

Лахман погрузился в раздумье.

– А это не святотатство?

– Не думаю. Просто мелкое надувательство.

Лахман почесал свой бугристый череп.

– Странно, с тех пор как я продаю все эти медальоны и четки, у меня возникает совсем другое чувство к Богу. Я теперь в некотором роде шизофренический иудокатолик. Так это точно не святотатство? Не осквернение Бога? Нет, правда, ты-то как считаешь?

Я покачал головой.

– Я считаю, у Бога куда больше юмора, чем мы предполагаем. И куда меньше сострадания.

Лахман встал. Он уже принял решение.

– Я ведь даже не продаю эту воду. Значит, это не будет бесчестной сделкой. Я ее просто дарю. Уж это-то наверняка не возбраняется. – Он внезапно ослабил щербатые зубы в вымученной улыбке. – Это же ради любви! А Бог – это любовь! Ладно! Последняя попытка! А какую взять бутылку, как ты думаешь?

– Только не из-под мойковской водки. Ее-то она узнает наверняка.

– Да конечно же, нет. Какую-нибудь совсем простую, анонимную бутылку. Из тех, какие бросают в океан матросы. Бутылочная почта. Запечатанная! Вот в чем весь фокус! Попрошу у Мойкова немного сургуча. У него-то определенно есть – для водки. Может, у него и старая русская монета найдется, с кириллицей, ею и припечатаем. Как будто бутылка из древнего монастыря на Иордане. Как ты думаешь, это ее проймет?

– Нет. Думаю, тебе лучше на несколько недель вообще о ней забыть, это скорее подействует.

Лахман обернулся. Гримаса отчаяния перекосила его лицо. Блекло-голубые глаза таращились, как у снулой пикши.

– Опять ждать! Не могу я ждать! – завопил он. – Я и так живу наперегонки с годами! Мне уже сильно за пятьдесят! Еще год-другой, и я импотент! Что тогда? Одна только бессильная похоть, тоска и никакого удовлетворения! Это же ад! Как ты не понимаешь?! А много ли у меня было в жизни? Только страх, изгнание и нищета. А жизнь одна! – Он достал носовой платок. – И та на три четверти считай, что уже прошла! – прошептал он.

– Не реви! – резко сказал я. – Все равно не поможет. Уж этому, надеюсь, жизнь тебя научила.

– Да не реву я, – ответил он с досадой. – Просто высморкаться хочу. У меня все переживания на нос перекидываются. На глаза ни в какую. Если бы я мог плакать – разве такой я имел бы успех? А так – кому нужен Ромео, у которого от полноты чувств из носа течет? Я же продохнуть не могу. – Он несколько раз оглушительно высморкался. Потом, взяв на прицел Мойкова, заковылял к стойке.

* * *

Я отнес вазу к себе в комнату. Поставил ее на подоконник и стал разглядывать в угасающем вечернем полусвете. Был примерно тот же час, что и в Брюсселе, когда музей закрывался и я выходил на свободу из своей кладовки.

Я медленно поворачивал вазу, изучая ее со всех сторон. В свое время я прочел почти всю, не слишком, кстати, обширную, литературу по этой теме и помнил множество иллюстраций. Я знал, что копии распознаются по крохотным деталям орнамента: если на бронзе эпохи Чжоу обнаруживаются мельчайшие декоративные элементы, освоенные ремеслом лишь в эпоху Хань, не говоря уж об эпохах Мин или Тан, то эти мелкие неточности безошибочно изобличают вещь как гораздо более позднюю подделку. Ни одной такой погрешности я на своей бронзе не обнаружил. Похоже, это и вправду была вещь эпохи Чжоу, самого расцвета ее, шестого-пятого столетия до нашей эры.

Я улегся на кровать, поставив бронзу рядом на тумбочку. Со двора, перекрывая унылое побрякивание мусорного бачка, доносились звонкие, истошные крики поварят и гортанный бас негра, выносившего отбросы.

Я и сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, была уже ночь. Сперва я вообще не мог понять, где я и что со мной. Потом увидел вазу на тумбочке, и мне на секунду показалось, что я опять в своей музейной конуре. Я сел на кровати, стараясь не дышать громко. Только тут я понял, что спал и что мне снился сон, он еще смутно брезжил в моем сознании, но такой, что вспоминать не хотелось. Я встал и подошел к распахнутому окну. Внизу был двор, там привычно чернели в темноте бачки для мусора. Я свободен, сказал я в темноту и повторил это себе еще и еще раз, тихо и настоятельно, как не однажды твердил за годы изгнания. Я почувствовал, что постепенно успокаиваюсь, и снова взглянул на бронзу, которая и теперь едва заметным поблескиванием продолжала ловить розоватые отсветы огней ночного города. У меня вдруг появилось чувство, что ваза – живая. Ее патины не была мертвой, не казалась наклеенной или искусственно выделанной воздействием кислот на специально загрубленную поверхность; она была выросшей, медленно созревшей в веках, она несла на себе следы вод, которые по ней текли, земных минералов, с которыми она соприкасалась, и даже, судя по лазурному ободку на ножке, следы фосфористых соединений от соседства с мертвецом, длившегося не одно тысячелетие. Кроме того, от нее исходило тихое мерцание – точно так же, как от древних, не знавших полировки экспонатов эпохи Чжоу в музее; мерцание это создавалось пористостью природной патины, которая не поглощала свет, как искусственно обработанная бронза, а придавала поверхности матовый, чуть искристый оттенок, не гладкий, а скорее слегка шершавый, как на грубых старинных шелках. И на ощупь она не казалась холодной.

Я снова сел на кровать и выпустил бронзу из рук. Я смотрел прямо перед собой, в глубине души отлично понимая, что всеми этими соображениями стараюсь заглушить совсем другие воспоминания. Я не хотел воскрешать в памяти то утро в Брюсселе, когда дверь кладовки внезапно резко распахнулась и ко мне ворвалась Сибилла, шепча, что отца взяли, увели на допрос, мне надо бежать, скорей, никто не знает, будут его пытаться или нет и что он под пытками

расскажет. Она вытолкала меня за дверь, потом снова окликнула, сунула в карман пригоршню денег.

– Иди, уходи, только медленно, как будто ты посетитель, не беги! – шептала она. – Да хранит тебя Бог! – добавила Сибилла напоследок, вместо того чтобы проклясть меня за то, что я, по всей видимости, навлек на ее отца такую беду. – Иди! Да хранит тебя Бог! – А на мой растерянный, торопливый вопрос, кто же предал ее отца, только прошептала: – Не все ли равно! Иди, пока они сюда с обыском не заявились! – Наспех поцеловав, она вытолкнула меня в коридор и прошептала вслед: – Я сама все приберу! Беги! И не пиши! Никогда! Они все проверяют! Да храни тебя Бог!

Как можно спокойнее, стараясь ничем не выделяться, я спустился по лестнице. Людей вокруг было немного, и никто не обратил на меня внимания. Только перейдя улицу, я оглянулся. То ли мне почудилось, то ли на самом деле в одном из окон белым пятном мелькнуло чье-то лицо.

Я встал и снова подошел к окну. Через двор на меня глядела противоположная стена гостиницы, почти вся темная в этот час. Лишь одно-единственное окно горело напротив. Шторы были не задернуты. Я увидел мужчину, в одних трусах он стоял перед большим зеркалом в позолоченной раме и пудрился. Потом снял трусы и какое-то время красовался перед зеркалом нагишом. На груди у него была татуировка, зато волос не было. Он надел кружевные черные трусики и черный бюстгальтер, после чего не торопясь, со вкусом принялся набивать чашечки бюстгальтера туалетной бумагой. Я бездумно смотрел на все это, не вполне осознавая, что, собственно, происходит. Потом прошел в комнату и зажег верхний свет. Когда вернулся, чтобы задернуть занавески, увидел, что и в окне напротив шторы уже задернуты. Шторы были красного шелка. В других номерах они были кофейно-коричневые, хлопчатобумажные.

Я спустился вниз и поискал глазами Мойкова. Его нигде не было видно. Должно быть, вышел. Решив дождаться его, я устроился в плюшевом будуаре. Спустя некоторое время мне показалось, будто я слышу чей-то плач. Плач был негромкий, и поначалу я не хотел обращать на него внимание, но постепенно он стал действовать мне на нервы. В конце концов я не выдержал и направился в глубь будуара, где возле полки с цветами в горшках, на софе, обнаружил свернувшуюся в комочек, спрятавшуюся ото всех Марию Фиолу.

Я хотел тут же повернуться и уйти. Только этой истеричной особы мне сейчас не хватало! Но Мария уже заметила меня. Она и плакала с широко раскрытыми глазами, от которых, судя по всему, невзирая на слезы, не ускользало ничто.

– Вам чем-нибудь помочь? – спросил я.

Она помотала головой и одарила меня взглядом кошки, которая вот-вот зашипит.

– Хандра? – спросил я.

– Да, – ответила она. – Хандра.

Тоже мне мировая скорбь, подумал я. Это все было хорошо для другого, романтического столетия. Не для нашего, с его пытками, массовыми убийствами и мировыми войнами. А тут, видно, несчастная любовь.

– Вы, должно быть, Мойкова искали? – спросил я.

Она кивнула.

– А где он?

– Понятия не имею. Сам его ищу. Наверно, разносит клиентам свою водку.

– Ну конечно. Когда он нужен, его никогда нет.

– Тяжкое преступление, – заметил я. – К тому же и весьма частое, как ни жаль. Вы хотели выпить с ним водки?

– Я поговорить с ним хотела! Он все понимает! При чем тут водка! А где, кстати, водка?

– Может, за стойкой бутылка припрятана? – предположил я.

Мария помотала головой.

– Шкафчик заперт. Я уже пробовала.

– Шкафчик он, конечно, зря запер. Как русский человек, он должен предчувствовать отчаянья час. Боюсь, правда, что тогда его сменщик, ирландец Феликс О'Брайен, был бы уже пьян в стельку и перепутал бы все ключи.

Девушка встала. Я отшатнулся. На голове у нее бесформенным мешком возвышался шелковый черный тюрбан, из которого дулами револьверов торчали какие-то металлические гильзы.

– Что такое? – спросила она растерянно. – Я что, похожа на чудовище?

– Не совсем. Но как-то уж больно воинственно.

Она потянулась к тюрбану и одним движением распустила его. Моему взгляду открылись пышные волосы, все сплошь увешанные трубочками бигуди, которые своей конструкцией из металла и проволоки сильно напоминали немецкие ручные гранаты.

– Вы про это? – спросила она. – Про прическу? Мне скоро фотографироваться, вот я и завилась.

– Вид у вас такой, будто вы изготовились палить из всех орудий, – сказал я.

Она вдруг рассмеялась.

– Я бы с удовольствием, если б могла.

– Вообще-то у меня в комнате вроде еще оставалась бутылка, – признался я. – Могу принести. Рюмок здесь хватает.

– Какая светлая мысль! Что же она сразу вам в голову не пришла?

В бутылке оставалась еще добрая половина. Мойков отпустил мне ее по себестоимости. В одиночку я не пил, зная, что от этого скорбь на душе только еще безутешнее. Ничего особенного от девицы с пистолетами в волосах я не ждал, но от своей пустой комнатенки ожидал и того меньше. Уходя, я снял со стола бронзу и сунул в шкаф.

Когда я вернулся, меня ждала совершенно другая Мария Фиола. От слез не осталось и следа, личико напудренное и ясное, а волосы избавились от уродливых металлических трубок. Против ожидания, они не рассыпались бесчисленными мелкими локонами, а свободно падали вниз, образуя элегантную волну только вокруг затылка. К тому же они не были крашеными и жесткими, вроде соломы, как мне сперва показалось. Волосы у нее были светло-каштановые, с чуть красноватым отливом.

– А с какой стати вы пьете водку? – поинтересовалась она. – У вас на родине водку не пьют.

– Я знаю. В Германии пьют пиво и шнапс, это такая разбавленная водка. Но я забыл свою родину и ни пива, ни шнапса не пью. Да и по части водки не такой уж большой любитель. Но вы-то с какой стати водку пьете? Вроде бы в Италии это тоже не самый популярный напиток?

– У меня мама русская. И потом, водка единственный алкогольный напиток, который ничем не пахнет.

– Тоже веская причина, – заметил я.

– Для женщины – очень веская. А что предпочитаете вы?

«Очень содержательная беседа», – пронеслось у меня в голове.

– Да что придется, – ответил я. – Во Франции пил вино, если было.

– Франция! – вздохнула она. – Что немцы с ней сделали!

– Я в этом не участвовал. Я в это время сидел во французском лагере для интернированных лиц.

– Ну разумеется. Как представитель вражеской страны. Как враг.

– Как беженец из Германии. – Я засмеялся. – Вы, кажется, забыли, что Италия и Германия союзники. Они и на Францию вместе напали.

– Это все Муссолини! Ненавижу его!

– Я тоже.

– Я и Гитлера ненавижу!

– Я тоже, – поневоле повторил я. – Выходит, что по части неприятия мы с вами почти союзники.

Девушка глянула на меня с сомнением. Потом заметила:

– Наверное, можно и так посмотреть.

– Иногда это единственная возможность. Кстати, по вашей логике, Мойков до недавних пор тоже был в когорте извергов. Немцы заняли его родную деревню и всех жителей сделали тевтонами. Но сейчас это все позади. Русские вернулись, и он теперь снова русский. Наш с вами враг, если по-вашему.

Мария Фиола рассмеялась.

– Интересно у вас получается. Кто же мы на самом деле?

– Люди, – сказал я. – Только большинство, похоже, давным-давно об этом забыли. Люди, которым предстоит умереть, но большинство, похоже, давным-давно забыли и об этом. Меньше всего человек верит в собственную смерть. Еще водки?

– Нет, спасибо. – Она встала и протянула мне руку. – Мне надо идти. Работать.

Я проводил ее глазами. Она уходила совершенно бесшумно, не семеня, не цокая каблучками, не уходила, а плыла, скользила мимо уродливых плюшевых рыдванов, словно их и не было с нею рядом. Должно быть, профессиональный навык манекенщицы, подумал я. Шелковый платок теперь туго облегал ее плечи, сообщая всей фигуре неожиданную гибкость и худобу, но никак не хрупкость – скорее какую-то стальную, почти грозную элегантность.

Я отнес бутылку обратно в номер и вышел на улицу. Резервный портье Феликс О’Брайен стоял у подъезда – пивом от него несло как из бочки.

– Как жизнь, Феликс? – спросил я вместо приветствия.

Он передернул плечами.

– Встал, поел, отбатрачил свое, пошел спать. Какая это жизнь? Вечно одно и то же. Иногда и впрямь не поймешь, чего ради небо коптить.

– Да, – согласился я. – Но ведь коптим же.

V

– Джесси! – вскричал я. – Возлюбленная моя! Благодетельница! Радость-то какая!

Круглая мордашка с румяными щеками, угольками глаз и седым пучком пышной прически ничуть не изменилась. Джесси Штайн стояла в дверях своей маленькой нью-йоркской квартирki, как стояла прежде в дверях просторных берлинских апартаментов и как стаивала потом, уже в изгнании, в дверях самых разных жилищ и прибежищ во Франции, Бельгии, Испании, – неизменно улыбаясь, готовая помочь, словно у нее самой никаких забот нету. У нее и не было своих забот. Ее единственная забота, сущность всего ее «я», состояла в том, чтобы помогать другим.

– Бог ты мой, Людвиг! – запела она. – Когда же мы в последний раз виделись?

Самый расхожий эмигрантский вопрос. Я уже не помнил.

– Наверняка еще до войны, Джесси, – сказал я. – В те счастливые времена, когда за нами гонялась французская полиция. Только вот где? На каком из этапов «страстного пути»? Случайно, не в Лилле?

Джесси покачала головой.

– А не в тридцать девятом в Париже? Перед самой войной?

– Ну конечно же, Джесси! Отель «Интернациональ», теперь вспомнил. Ты угощала нас с Равиком картофельными оладьями, причем пекла их прямо у него в номере. И даже бруснич-

ное варенье к оладьям принесла. Это было последнее брусничное варенье в моей жизни. С тех пор я брусники в глаза не видел.

– Это целая трагедия, – заметил Роберт Хирш. – В Америке ты ее тоже не увидишь, здесь брусники нет. Вместо нее тут другие ягоды – loganberries¹⁸. Но это совсем не то. Впрочем, надеюсь, ты не сбежишь из-за этого обратно в Европу, как актер Эгон Фюрст.

– А ему-то чего не хватало?

– Ни в одном ресторане Нью-Йорка он не мог получить салат из птицы. Он эмигрировал, приехал сюда, но отсутствие салата из птицы приводило его в отчаяние. Так и вернулся в Германию. Вернее, в Вену.

– Это нечестно, Роберт, – вступилась за Фюрста Джесси. – Просто он тосковал по родине, по дому. И потом, он не мог здесь работать. Он не знал языка. А здесь никто не знал его. В Германии-то Фюрста всякий знает.

– Он не еврей, – насупился Хирш. – По родимой Германии только евреи и тоскуют. Парадоксально, но факт.

– Это он про меня, – пояснила Джесси со смехом. – Какой же он злока! Но у меня сегодня день рождения, и мне на его выпады плевать! Заходите! У нас сегодня яблочный штрудель и крепкий свежий кофе! Совсем как дома. Настоящий кофе, а не та разогретая бурда, которую американцы почему-то называют этим словом.

* * *

Джесси, ангел-хранитель всех эмигрантов. Еще до тридцать третьего, у себя в Берлине, она была второй матерью всем нуждающимся актерам, художникам, литераторам и просто интеллигентам. Наивный, не омраченный и тенью критичности энтузиазм позволял ей каждый день пребывать в состоянии эйфории. Это состояние, однако, находило себе выход не только в том, что она держала салон, где ее толпами осаждали режиссеры и продюсеры, но и в повседневной помощи ближним: она спасала распадающиеся браки, выслушивала исповеди и утешала отчаявшихся, понемножку давала в долг, помогала влюбленным, посредничала между авторами и издателями и благодаря своему упорству добивалась многого: издатели, продюсеры, директора театров хоть и считали ее назойливой, но противостоять ее бескорыстию и столь очевидной доброте были не в силах. Приемная мать многочисленных и непутевых питомцев, она жила сотнями их жизней, своей собственной, по сути, уже не имея. Какое-то время, еще в Берлине, при ней находился некто Тобиас Штайн, неприметный господин, заботившийся о том, чтобы гостям всегда было что есть и пить, но в остальном скромно державшийся в тени. Потом, уже в изгнании, он так же тихо и неприметно умер от воспаления легких в одном из городов великого «страстного пути».

Сама Джесси переносила изгнание так, будто это несчастье постигло не ее, а кого-то другого. Ее нисколько не удручало то, что она лишилась дома и всего состояния. Она продолжала опекать теперь уже беглых и изгнанных художников, встречавшихся ей на пути. Способность Джесси создавать вокруг себя атмосферу домашнего уюта, равно как и ее неколебимая жизнерадостность, были поразительны. Чем больше в Джесси нуждались, тем лучистей она сияла. При помощи пары подушечек и одной спиртовки она исхитрялась превратить замызганный гостиничный номер в некое подобие родины и домашнего очага, где она кормила, поила и обстирывала своих непрактичных, беспомощных, а теперь еще и неведомо куда судьбою брошенных чад; а когда после смерти господина Тобиаса Штайна вдруг выяснилось, что скромный покойник и после смерти о ней позаботился, завещав ей приличную сумму в долларах в парижском филиале нью-йоркского банка «Гаранти Траст», она и ее почти целиком истратила

¹⁸ Loganberry – логанова ягода, гибрид малины с ежевикой.

на своих подопечных, оставив себе лишь самую малость на жизнь и еще на билет до Нью-Йорка океанским лайнером «Королева Мэри». Не слишком интересуясь политикой, она, конечно, понятия не имела, что билеты на все заокеанские рейсы уже много месяцев как распроданы, поэтому даже не удивилась, когда билет ей тем не менее достался. Случилось так, что, когда она стояла у кассы, произошло неслыханное: в кассу сдали билет. Кого-то накануне отплытия хватил удар. Поскольку именно Джесси была в очереди первой, она и стала обладательницей билета, за который другие отдали бы целое состояние. Что до Джесси, то она даже не намеревалась оставаться в Америке, она хотела лишь снять со счета вторую часть своих денег, которую дальновидный супруг предусмотрительно оставил ей уже в головном, нью-йоркском отделении «Гаранти Траст», и тут же плыть обратно. Она уже третий день была в плавании, когда разразилась война. В итоге Джесси так и пришлось остаться в Нью-Йорке. Обо всем этом мне рассказал Хирш.

Гостиная у Джесси оказалась небольшая, но совершенно в ее стиле. Повсюду подушечки, множество стульев, шезлонг и уйма фотографий на стенах, почти все с велеречивыми посвящениями хозяйке. Часть из них в черной траурной окантовке.

– Список Джессиных утрат, – сказала изящная дама, сидевшая под фотографиями. – Там вон Газенклевер. – Она указала на один из фотоснимков в траурной рамке.

Газенклевера я хорошо помнил. В тридцать девятом его, как и всех эмигрантов, кого удалось сцапать, французы бросили в лагерь для интернированных. Когда немцы были всего в двух километрах от этого лагеря, Газенклевер ночью покончил с собой. Он не хотел попадаться в руки соотечественников, которые определили бы его уже в свой концлагерь и там замучили бы до смерти. Однако, против всех ожиданий, немцы в лагерь так и не вошли. В последний момент частям было приказано совершить обходной маневр, и гестаповцы второпях просто проскочили лагерь. Но Газенклевер был уже мертв.

Я заметил, что Хирш рядом со мной тоже смотрит на портрет Газенклевера.

– Я не знал, где он, – сказал он. – Я хотел его спасти. Но в то время повсюду был такой кавардак, что труднее было найти человека, чем его вызволить. Бюрократия в сочетании с французской безалаберностью – страшная вещь. Они даже не хотели никому зла, но те, кто угодил в эти путы, были обречены.

Чуть в стороне от списка утрат я заметил фото Эгона Фюрста, без черной рамки, но с косою траурной полосой в нижнем углу.

– А это как понимать? – спросил я у изящной дамы. – Или траурная лента означает, что его убили в Германии?

Дама покачала головой:

– Тогда он был бы в рамке. А так Джесси просто скорбит о нем. Поэтому у него всего лишь полоска. И висит он поодаль. Все настоящие покойники висят вон где, рядом с Газенклевером. Их там уже много.

Похоже, в мире воспоминаний у Джесси был большой порядок. Даже смерть можно окружить мещанским уютом, думал я, не отрывая взгляда от пестрых подушечек на шезлонге под фотографиями. Иные из актеров были в костюмах персонажей, с успехом сыгранных когда-то в Германии или в Вене. Должно быть, Джесси привезла эти фотографии с собой. Теперь, в нафталинном бархате, в бутафорских доспехах, кто с мечом, кто при короне, они счастливо и победительно улыбались из своих траурных рамок.

На другой стене гостиной висели фотографии тех друзей Джесси, которые пока что были живы. И здесь большинство составляли актеры и певцы. Джесси обожала знаменитостей. Среди них нашлось место и паре-тройке писателей и врачей. Трудно сказать, какой из этих паноптикумов производил более загробное впечатление – тех, что уже умерли, или тех, что еще живы и не ведают своей смерти, но уже как бы чают ее: в потускневшем ореоле былых триумфов – в

облачении ли вагнеровского героя с бычьими рогами на голове, в костюме ли Дон-Жуана или Вильгельма Телля, – они грустно глядели со стены, став с годами куда скромней и безнадежно состарившись для ролей, в которых запечатлены на фото.

– Принц Гомбургский! – продребезжал скрюченный человечек у меня за спиной. – Это когда-то был я! А теперь?

Я оглянулся. Потом снова посмотрел на фото.

– Это вы?

– Это был я, – с горечью уточнил старообразный человечек. – Пятнадцать лет назад! Мюнхен! Театр «Каммершпиле»! В газетах писали, что такого Принца Гомбургского, как я, десять лет не было. Мне пророчили блестящее будущее. Будущее! Звучит-то как! Будущее! – Он отвесил судорожный поклон. – Позвольте представиться: Грегор Хаас, в прошлом – актер «Каммершпиле».

Я пробормотал свое имя. Хаас все еще смотрел на свое неузнаваемое фото.

– Принц Гомбургский! Разве тут можно меня узнать? Конечно, нет! У меня тогда еще не было этих жутких морщин, зато были все волосы! Только за весом надо было следить. Я питал слабость к сладкому. Яблочный штрудель со взбитыми сливками. А сегодня? – Человечек распахнул пиджак, висевший на нем мешком, – под ним обнаружился жалкий, впалый живот. – Я говорю Дженни: сожги ты все эти фотографии! Так нет же, она дорожит ими, как родными детьми. Это у нее называется «Клуб Джесси»! Вы это знали?

Я кивнул. Так именовались подопечные Джесси уже во Франции.

– Вы тоже в нем состоите? – спросил Хаас.

– Время от времени. Да и кто не состоит?

– Она мне тут работу устроила. Немецким переводчиком на фирме, которая ведет обширную переписку со Швейцарией. – Хаас озабоченно оглянулся. – Не знаю, надолго ли. Эти швейцарские фирмы все чаще норовят сами писать по-английски. Если и дальше так пойдет, мои услуги вскоре не понадобятся. – Он глянул на меня исподлобья. – От одного страха избавишься, так другой уже тут как тут. Вам это знакомо?

– Более или менее. Но к этому привыкаешь.

– Кто привыкает, а кто и нет, – неожиданно резко возразил Хаас. – И однажды ночью лезет в петлю.

Он сопроводил свои слова каким-то неопределенным движением руки и снова поклонился.

– До свидания, – сказал он.

Только тут я осознал, что мы говорили по-немецки. Почти все вокруг говорили по-немецки. Я вспомнил, что Джесси еще во Франции придавала этому особое значение. Она считала, что когда эмигранты говорят друг с другом не на родном языке, это не просто смешно, а чуть ли не предательство. Она, несомненно, принадлежала к той школе эмигрантов, в восприятии которых нацисты были чем-то вроде племени марсиан, вероломно захвативших их беззащитную отчизну; в отличие от другой школы, которая утверждала, что в каждом немце прячется нацист. Была также третья школа, которая шла еще дальше и заявляла, что нацист прячется вообще в каждом человеке, просто это состояние по-разному называется. Эта школа, в свою очередь, делилась на два течения – философское и воинствующе-практическое. К последнему принадлежал Роберт Хирш.

– Ну что, Грегор Хаас поведал тебе свою историю? – спросил он, подходя.

– Да. Он в отчаянье из-за того, что Джесси вывесила у себя его фотографию. Он бы предпочел все прошлое забыть.

Хирш рассмеялся.

– Да его комнатенка сплошь обклеена фотографиями времен его недолгой славы. Он скорее умрет, чем позабудет о своих несчастьях. Это же прирожденный актер. Только теперь он играет не Принца Гомбургского на сцене, а горемыку Иова в реальной жизни.

– А что с Эгоном Фюрстом? – спросил я. – На самом-то деле почему он уехал?

– Ему не давался английский. И кроме того, у него просто в голове не укладывалось, как это его никто здесь не знает. С актерами такое бывает. В Германии он же был знаменитость. И с первых шагов, начиная с паспортного контроля и с таможни, никак не мог привыкнуть, что о нем никто слыхом не слыхал, что свою прославленную фамилию ему приходится диктовать чуть ли не по буквам. Его это просто убивало. Сам знаешь – что для одного пустяк, для другого трагедия. А уж когда на киностудии ему, как какому-нибудь безвестному новичку, предложили пробные съемки, это был конец. После такого позора он твердил только одно – домой. Вероятно, еще жив. Иначе Джесси наверняка знала бы. А вот играет он там, в Германии, или нет – неизвестно.

К нам подпорхнула Джесси.

– Кофе готов! – радостно объявила она. – И яблочный штрудель тоже! Прошу к столу, дети мои!

Я обнял ее за плечи и поцеловал.

– Ты опять спасла мне жизнь, Джесси! Ведь это ты сподвигла Танненбаума прийти мне на выручку.

– Ерунда! – Она высвободилась из моих объятий. – Люди не так-то быстро погибают. А уж ты и подавно!

– Ты уберегла меня от вынужденного круиза на одном из современных «летучих голландцев». Из порта в порт, но без права пришвартоваться.

– Они что, правда есть? – спросила она.

– Правда, – ответил я. – Битком набитые эмигрантами, в основном евреями. И детьми тоже.

На кругленькое личико Джесси набежала тень.

– Ну почему они не оставят нас в покое? – простонала она. – Нас ведь так мало осталось.

– Как раз поэтому, – ответил Хирш. – Нас не опасно гнать на бойню. Нам не опасно отказать в помощи. Мы самые терпеливые жертвы на свете.

Джесси повернулась к нему.

– Роберт, – сказала она. – У меня сегодня день рождения. И я старая женщина. Дай нам сегодня вечером насладиться самообманом. Я сама испекла яблочный штрудель. И кофе сама сделала. А вон и наши сестрички, Эрика и Беатрис. Они помогали мне готовить, а сейчас потчуют гостей. Так что сделай одолжение – пей, ешь до отвала, но прекрати каркать. Хоть бы раз обошелся без политических проповедей!

Я увидел изящную женщину, что прежде сидела под фотографиями; теперь она приблизилась к нам с кофейником. За ней следовала другая, они были похожи как две капли воды. Женщины и одеты были одинаково.

– Близняшки! – гордо пояснила Джесси, будто она сама была автором этого чуда природы. – Настоящие! И прехорошенькие! Когда-нибудь они прославятся в кино!

Близняшки, пританцовывая, обхаживали гостей. Это были крашенные блондинки, длинноногие и темноглазые.

– Ну как их различить! – произнес чей-то голос совсем рядом. – При этом одна, говорят, жуткая потаскушка, а вторая оплот добродетели.

– Но имена-то у них разные, – заметил я.

– В том-то и штука! – оживился обладатель голоса. – Эти стервы меняются именами! Выдают себя друг за дружку. Это у них игра такая. Только ежели кто влюблен, то для него это уже не игра, а дьявольская забава.

Я с интересом поднял глаза. Влюбиться в близнецов – это было что-то новенькое.

– Вы в одну влюблены или в обеих сразу? – любопытствовал я.

– Меня зовут Лео Бах, – представился мужчина. – Если честно, то в потаскушку, – охотно объяснил он. – Только не знаю, в которую из них.

– Но это же довольно просто выяснить.

– Я тоже так полагал. Как раз сегодня, когда у обеих руки заняты. Потихоньку ущипнул одну за зад – она мне в отместку пролила кофе на мой синий костюм. Тогда я то же самое с другой проделал – так она мне тоже кофе на костюм выплеснула! И теперь уже я не знаю – то ли я два раза одну и ту же ущипнул, то ли все-таки разных. Эти близняшки – они такие шустрые. Носятся по квартире – не уследишь. Вот вы лично как считаете? Меня что с толку сбивает: оба раза одинаковая реакция – кофе на костюм. Пожалуй, это скорее говорит о том, что я щипал одну и ту же, вам не кажется?

– А вы не хотите попытать счастья еще разок? Но так, чтобы не упускать обеих из виду?

Лео Бах затряс головой.

– У меня и так уже весь костюм мокрый. А он у меня один.

– Но, по-моему, на синем костюме пятна от кофе не остаются.

– Не в пятнах дело. В пиджаке, во внутреннем кармане, все мои деньги. Третьей чашки кофе пиджак может не выдержать, деньги промокнут и сделаются непригодными. Этого я себе позволить не могу.

Одна из близняшек внезапно оказалась возле нас с кофе и пирожными. Лео Бах невольно отпрянул и лишь потом жадно потянулся за пирожным. В это же время ко мне с чашкой кофе подошла вторая. В другой руке у нее был кофейник. Бах прекратил жевать и не сводил с нее глаз, пока она не отошла.

– Ну вертихвостки! – пробурчал он. – Святая невинность, понимаешь! Даже по голосу их не различить!

– Тяжело вам, – посочувствовал я. – Но, может, им обеим не нравится, когда их щиплют за зад? В определенных кругах это считается несколько примитивным способом заигрывания.

Бах только отмахнулся.

– О чем вы говорите! Какие там «определенные круги»! Мы эмигранты! Разнесчастные твари!

Вместе с Хиршем мы вернулись в его магазин. За окнами в потоках света, шума и людской толчеи пробуждалась ночная жизнь большого города. Свет мы зажигать не стали – его было достаточно и так. Невидимая плоскость оконного стекла отгораживала нас от шума. Мы сидели в магазине, как в пещере, и мелькания огней с улицы двойными контурами отражались в огромных, округлых и выпуклых зрачках телевизионных экранов. Ни один из телевизоров не был включен, они молчаливо сгруппировались вокруг нас, и казалось, мы перенеслись в безмолвный мир робототехники будущего, где все, что там, за окном, вертелось в агрессивной, потной, пугливой и мучительной человеческой кутерьме, а здесь уступило место безукоризненному и бесчувственному совершенству технических решений.

– Даже странно, до чего здесь, в Америке, все по-другому, – сказал Хирш. – Ты не находишь?

Я покачал головой. Он встал и принес бутылку перно и два небольших стакана. Потом подошел к холодильнику и достал оттуда ванночку со льдом. На секунду свет из холодильника ярко выхватил из темноты его узкое лицо с пышной светло-рыжей шевелюрой. Хирш по-преж-

нему смахивал скорее на облезлого провинциального лирика, чем на маккавейского ангела мщения.

– По-другому, чем во время бегства, – пояснил он. – Чем во Франции, Голландии, Бельгии, Испании, Португалии. Там клочок привычного домашнего быта казался заветной, почти недостижимой мечтой. Комната с постелью, теплая печь, вечер в кругу друзей. Или Джесси, как ангел благовещения, с кульком картофельных оладий и кофейником настоящего кофе в руках. То были просветы, блаженные оазисы отдохновения на зловещем фоне постоянной угрозы. А теперь? Во что это все выродилось? В благостные мещанские посиделки за кофейком. В тошнотный обывательский уют. Ты так не считаешь?

– Нет, – не согласился я. – Просто угроза стала меньше, вот и все. И сразу полезло в глаза все обыкновенное. Лично я – за уют и безопасность мещанских посиделок. Когда люди по крайней мере уверены, что завтра могут увидаться снова. В Европе мы этой уверенности не знали никогда. – Я рассмеялся. – Или ты предпочтешь чувство опасности, лишь бы придать мещанскому уюту ореол романтики? Как врачи, которые при эпидемиях холеры готовы выкачать куда больше героизма, чем при обычном гриппе?

– Да нет, конечно! Просто меня злит вся эта атмосфера. Смесь покорности, бессильного гнева, протеста, который ни к чему не ведет и тут же угасает, обиды и всенепременного висельного юмора. Вместо того чтобы негодовать – одно ерничанье и беззубые эмигрантские шуточки!

Я посмотрел на Хирша внимательно.

– А что им еще делать? – спросил я наконец. – Конечно, может, эмигранты и не оправдывают твоих ожиданий, но они же не по своей воле стали искателями приключений. Да, они обрели здесь какую-то безопасность, но они все еще люди второго сорта. Их только терпят; епему aliens – вот ведь как их тут называют. Вражеские чужестранцы. И они теперь на всю жизнь останутся вражескими чужестранцами, даже если вернуться в Германию. Даже в Германии.

– А ты думаешь, они вернуться?

– Не все, но некоторые. Если не умрут раньше. Чтобы жить без корней, надо иметь сильное сердце. А несчастье редко выступает в героической тоге. Они живут чужой, заемной жизнью, без родины, и за душой у них, Роберт, ничего, кроме повседневного обывательского мужества, а вместо будущего – одни только прекраснотушные иллюзии. – Я отставил свой стакан. – Черт возьми, я уже начинаю произносить проповеди. Это все от анисовки. Или от темноты. У тебя ничего другого выпить нету?

– Коньяк, – откликнулся Роберт. – «Курвуазье».

– Да это же дар Божий!

Он встал и пошел за бутылкой. Я смотрел на его силуэт на фоне освещенного улицей окна. Бог ты мой, думал я, неужто его и вправду гложет тоска по всей этой недавней жизни, полной горечи, мытарств и треволнений? Я давно его не видел, и я знал, как быстро это случается. Память – лучший фальсификатор на свете; все, через что человеку случилось пройти, она с легкостью превращает в увлекательные приключения; иначе не начинались бы все новые и новые войны. К тому же Роберт Хирш вел совсем другую жизнь, чем остальные эмигранты: жизнь маккавея, мстителя и спасителя в беде, – жизнью жертвы он не жил. Неужто лик смерти совсем исчез с его горизонта в тумане буден, в дымке безопасности? – думал я. Думал, признаюсь, не без зависти, ибо на моем проклятом небосклоне этот лик всходил каждую ночь, так что мне частенько приходилось зажигать свет, когда очередной кошмар вырывал меня из сна.

Хирш откупорил коньяк. Благоуханный аромат тотчас же разлился по комнате. Это был добрый старый коньяк еще довоенных времен.

– Помнишь, где мы пили его в первый раз? – спросил Хирш.

Я кивнул.

– В Лане. Когда в курятнике прятались. Мы тогда еще решили составить «Ланский катехизис». Какая-то призрачная была ночь, осененная страхом, коньяком и куриным квохтаньем. А бутылку ты тогда у коллаборациониста-винооторговца конфисковал.

– Украл, – уточнил Хирш. – Но в ту пору мы употребляли только возвышенные выражения. Как и нацисты.

«Ланский катехизис» – это было собрание практических советов беглецу, своеобразный кладезь опыта, накопленного эмигрантами на этапах «страстного пути». Где бы ни встречались беженцы, они неизменно обменивались друг с другом сведениями о новых ухищрениях полиции и новых способах от них защититься. В конце концов мы с Хиршем начали все эти вещи записывать, создавая нечто вроде пособия для начинающих. Там были адреса, где беженцу могли помочь, и другие, которых надо было сторониться; перечни легких или особо опасных пропускных пунктов; фамилии доброжелательных или же особо злокозненных пограничных и таможенных офицеров; укромные места для передачи друг другу почты; музеи и церкви, не проверяемые полицией; рекомендации, где и как легче провести жандармов. Сюда же потом вошли имена надежных связных, которые знали, как уйти от гестапо, а еще, постепенно, – перлы эмигрантской житейской мудрости, философские сентенции гонимых и горький юмор выживания.

Кто-то постучал в окно. С улицы нас пристально разглядывал лысый мужчина. Потом постучал снова, еще сильнее. Тогда Хирш встал и открыл дверь.

– Мы не жулики, – объяснил он. – Мы тут живем.

– Вот как? Тогда с какой стати вы сидите здесь после закрытия магазина, да еще в темноте?

– Мы и не гомосексуалисты. Мы строим планы на будущее. Будущее наше мрачно, вот мы и сидим во мраке.

– Чего-чего? – переспросил мужчина.

– Можете вызывать полицию, если вы нам не верите, – отрезал Хирш и захлопнул дверь перед носом у лысого.

Он вернулся к столу.

– Америка – страна соглашательства и единомыслия, – сказал он. – Каждый смотрит на соседа и все делает точно так же и в одно и то же время. Всякий инакий подозрителен. – Он отставил свой стаканчик с абсентом и тоже принес себе рюмку поменьше. – Забудь все, что я тебе сегодня говорил, Людвиг. Сам знаешь, бывают такие моменты. – Он усмехнулся. – «Ланский катехизис», параграф двенадцатый: «Эмоции, равно как и заботы, омрачают ясную голову. Все еще сто раз переменится».

Я кивнул.

– Ты не подумывал пойти здесь в армию? – спросил я.

Хирш отпил глоток коньяка, потом ответил:

– Подумывал. Они меня не хотят. «Опять немец, еще один немец» – вот что они мне сказали. Может, они и правы. Им лучше знать. Предложили на Тихий океан, воевать с японцами. Но тут я сам не согласился. Я ведь не наемник, чтобы за деньги в людей стрелять. Может, они и правы. А вот ты стал бы в немцев стрелять, если б они тебя в армию взяли?

– В некоторых стал бы.

– В некоторых, которых ты лично знаешь, – наседал он. – А в других? Во всех остальных? Я задумался.

– Это чертовски трудный вопрос, – сказал я наконец.

Хирш горько усмехнулся.

– На который нет ответа, верно? Как нет ответа для нас, граждан мира, и на многие другие. Мы и не там, и не здесь. И в покинутую отчизну нам нельзя, и новая страна нас не принимает. И генералы, которые нам не верят, пожалуй, даже правы.

Я не стал возражать Роберту. Да и что возразишь? Мы попали в это положение, но не мы его создали. Здесь все было решено до нас. И большинство с этим положением смирилось. Только мятежное сердце Роберта Хирша не желало смириться.

– В Иностраннный легион берут немцев, – сказал я наконец. – И даже гражданство обещают. После войны.

– Иностраннный легион! – Хирш презрительно хмыкнул. – И загонят в Африку, дороги строить.

Сидя за столом, мы помолчали. Хирш зажег новую сигарету.

– Вот странно, – сказал он. – Не курится как-то в темноте. Вкуса совсем не чувствуешь. Хорошо бы в темноте и боли не чувствовать.

– А чувствуешь вдвойне. Отчего так? Или это потому, что в темноте сильнее боишься?

– Да нет, сильнее чувствуешь одиночество. Призраки прошлого одолевают.

Я вдруг перестал его слышать. За окном внезапно мелькнуло лицо, при виде которого у меня чуть не разорвалось сердце. Лицо появилось неожиданно и застигло меня врасплох, оно, можно сказать, меня сразило. Еще миг – и я бы вскочил и бросился за ним вдогонку, но я все-таки усидел и в следующую секунду уже знал, что мне почудилось. Не могло не почудиться. Этого лица, этой оглядки через плечо, этой улыбки в бликах уличных фонарей уже не было на свете. Это лицо уже не улыбнется. В последний раз, когда я его видел, оно было холодным и застывшим, а на глазах сидели мухи.

– Что ты сказал? – спросил я через силу.

Это все обман, думал я. Какой-то морок, надо немедленно проснуться. На миг темное пространство с безмолвно поблескивающими лупоглазыми зрачками экранов показалось настолько оторванным от остального мира, настолько ирреальным, что почудилось, оно поглотит сейчас и жизнь за окном, и меня, и вообще все вокруг.

– Можно, я зажгу свет? – спросил я.

– Конечно.

Холодный неоновый свет залил помещение, заставив нас подслеповато моргать и таращиться, будто застигнутых за постыдным занятием мальчишек.

– Так о чем ты? – переспросил я.

Хирш взглянул на меня с недоумением.

– Я говорю, не забивай себе голову мыслями о Танненбауме. Он разумный человек и знает, что тебе нужно время, чтобы обжиться. Ты не обязан специально к нему идти и благодарить. Его жена от случая к случаю дает приемы для голодающих эмигрантов. Скоро у нее как раз очередной прием. Она тебя пригласит. Мы с тобой пойдем туда вместе. Тебе ведь тоже так лучше?

– Гораздо лучше.

Я встал.

– Что у тебя с работой? – спросил Хирш. – Нашел что-нибудь?

– Нет пока. Но кое-что есть на примете. Не хочу быть обузой Танненбауму.

– Об этом вообще не думай. А жить всегда можешь у меня, и столоваться тоже.

Я покачал головой.

– Нет, Роберт, я хочу все осилить сам. Все, понимаешь, все! «Ланский катехизис», параграф седьмой: «Помощь приходит, только когда она не нужна».

Я не стал возвращаться в гостиницу. Решил бесцельно побродить по городу, как бродил почти каждый вечер. Я смотрел на каскады света и думал о Рут, которой больше нет. Мы

случайно встретились и сразу остались вместе. Это случилось в горькую для нас обоих пору. Никого, кроме друг друга, у нас не было. Но однажды меня арестовали, на две недели бросили в тюрьму, а потом выдворили через швейцарскую границу. С превеликим трудом я сумел вернуться. Но когда добрался до Парижа, Рут была уже мертва. Я нашел ее в ее комнате, посреди жужжащего роя толстых, жирно поблескивающих мух; судя по всему, она уже несколько дней так лежала. С тех пор не могу избавиться от чувства, что я ее бросил, бросил в беде. У нее никого, кроме меня, не было, а я дал себя арестовать по собственной дурости. Рут покончила с собой. Как и многие эмигранты, она всегда имела при себе яд – на случай, если ее схватит гестапо. Но она им даже не воспользовалась. Двух стеклянных трубочек со снотворным для ее усталого, надломленного отчаянием сердца оказалось достаточно.

Сам не знаю почему, я вдруг остановился, уставившись на витрину газетного киоска. Аршинные заголовки кричали со всех передовиц: «Покушение на Гитлера!», «Гитлер убит взрывом бомбы!».

Вокруг киоска сгрудились люди. Я протиснулся к прилавку и купил газету. Она была еще чуть влажная от типографской краски. Я вдруг заметил, что руки у меня дрожат. Нашел какую-то подворотню и стал читать. Меня вдруг охватило яростное раздражение из-за того, что я читаю так медленно. Да и понимаю не все! Я скомкал газету, потом снова ее разгладил и остановил такси. Решил поехать к Хиршу.

Хирша дома не было. Я долго стучал в его дверь. Она была заперта. В магазине его тоже не оказалось. Вероятно, вышел перед самым моим приездом. Я побрел к «Дарам моря». Мертвые рыбины поблескивали в витрине, распятые омары зябко поеживались на ледовой крошке, официанты с тяжеленными лоханями ухи над головой лавировали между столиков, ресторан был забит, но Хирша и здесь не оказалось. Я медленно двинулся дальше. В отель возвращаться не хотелось – я боялся напороться на Лахмана. Не тянуло меня и в плюшевый будуар – не исключено, что его уже оккупировала Мария Фиола. Мойкова на месте не было, это я знал.

Я брел по Пятой авеню. Ее простор, сияние ее огней – все это действовало на меня успокаивающе. Казалось, от освещенных домов исходит мелкая электрическая дрожь, которая заставляет вибрировать весь воздух. Я прямо чувствовал эту дрожь у себя на лице и ладонях. Возле отеля «Савой-Плаза» я купил еще один экстренный выпуск – его продавал горластый карлик с тонюсенькими усиками. Сообщалось в нем примерно то же самое, что и в первой газете. В штаб-квартире Гитлера взорвана бомба. Подложил бомбу кто-то из офицеров. Еще не известно, действительно ли Гитлер убит, но тяжело ранен почти наверняка. Это был офицерский путч. Армейские части в Берлине вышли из повиновения, к ним присоединились некоторые генералы. Возможно, это конец.

Я вплотную подошел к ярко освещенной витрине, чтобы разобрать и набранное мелким шрифтом. Казалось, вокруг меня струятся токи магнитной бури. Из зоопарка доносилось рыканье львов. Я тупо глазел на витрину, перед которой стоял, и ничего не видел. Лишь некоторое время спустя я сообразил, что стою перед знаменитым ювелирным магазином «Ван Клиф и Арпелз». Две диадемы двух умерших королей холодно и безучастно покоились там в черной бархатной нише в обрамлении рубинов, изумрудов и бриллиантов, как бы вобрав в себя всю неприступность загадочного мира кристаллов и все его совершенство, возникшее задолго до теплой суеты жизни и существующее с тех пор вне смерти, вне убийства, по своим, непостижимым законам неуклонного и бесшумного роста. Я вновь ощутил газету у себя в руке, услышал ее шуршание, увидел жирные заголовки – и опять поднял взгляд на Пятую авеню, окунул его в светозарную перспективу этой удивительной улицы, в ее изобилие и блеск, в золотистое мерцание витрин, в неудержимый взлет этажей, бахвалящихся своей обольстительной порочностью и вавилонской вседозволенностью. Нет, ничто здесь не изменилось за те минуты, пока в душе у меня бушевала буря. Шуршание газеты в моей руке – вот и все, что напоминало здесь о

войне, призрачной войне без смертоубийств и разрушений, беззвучный отголосок новой битвы на Каталаунских полях¹⁹, долетевший сюда, на другой берег океана, на этот невредимый континент, отзвук не видимой отсюда войны, который только и был слышен, что в шуршании газет на прилавках ночных киосков.

- А когда будут утренние выпуски? – спросил я.
- Часа через два. «Таймс» и «Трибюн».

Я возобновил свое беспокойное странствие вдоль Пятой авеню – мимо Центрального парка до отеля «Шерри-Незерланд», оттуда до музея «Метрополитен» и обратно до отеля «Пьер». Стояла неопишуемая ночь, бездонная и тихая, теплая, облаканная поздним июлем, что завалил все цветочные магазины розами, гвоздиками и орхидеями и переполнил все киоски в боковых улочках буйным кипением сирени, осененная высокозвездным небом над Центральным парком, что легло на пышные кроны лип и магнолий, и покоем, нарушаемым лишь дробным цокотом конного экипажа для полуночных влюбленных, меланхоличным порывиванием львов да рокотом редких автомобилей, чертивших прожекторами фар световые каракули в темных провалах парка.

Я вошел в парк и двинулся к небольшому пруду. Посеребранный, он тихо мерцал в свете незримой луны. Я сел на скамью. Никак не получалось спокойно все обдумать. Сколько я ни пытался, тут же подступало прошлое – все шло кругом, путалось, накатывало, глазело из мертвых глазниц, потом опять шныряло в сумрак деревьев, шуршало там, неслышными шагами подкрадываясь снова, сквозь пепел и скорбь заговаривало со мною едва слышными голосами бывшего, шептало что-то, то ли увещевая, то ли желая предостеречь, внезапно приближая события и лица из путаных лабиринтов лет, так что я, уже почти поверив в галлюцинации, и вправду думал, что вижу их в этом призрачном сплетении вины и ответственности, промахов и упущений, бессилия, горечи и неистовой жажды мести. В эту теплую июльскую ночь, полную цветения и произрастания, насыщенную затхлой влагой черного, недвижимого пруда, на глади которого полусонным вспугнутым криканьем изредка перекликались друг с другом утки, все во мне вдруг разверзлось снова, пройдя перед внутренним оком траурным шествием боли, вины и неисполненных обещаний. Я встал; неумоготу было сидеть вот так, в полной неподвижности, чувствуя, как совсем рядом на бреющем полете проносятся летучие мыши, обдавая лицо холодком могильного тлена. Окутанный обрывками воспоминаний, будто дырявым плащом, я побрел дальше по тропинкам, убегавшим в глубь парка, побрел, сам не зная куда. Очутившись на круглой песчаной площадке, я остановился. В центре ее, в пятне лунного света, недвижимым и пестрым хороводом теней затаилась небольшая карусель. Она была завешана парусиной, но не полностью и наспех; видны были лошадки в золотистых сбруях с развевающимися гривами, и гондолы, и слоны, и медведи. Все они замерли на бегу, их галоп окаменел, и теперь они пребывали в безмолвной неподвижности, заколдованные, как в сказке. Я долго смотрел на эту застывшую жизнь, столь странно безутешную в своем оцепенении – наверное, как раз оттого, что замышлялась она как апофеоз беззаботного веселья. Зрелище это о многом мне напомнило.

Внезапно послышались шаги. Откуда-то сзади, из темноты, вышли двое полицейских. Они оказались рядом, прежде чем я успел сообразить, стоит мне убегать или нет. Так что я остался.

- Что вы тут делаете? – спросил один из полицейских, тот, что повыше ростом.
- Гуляю, – ответил я.

¹⁹ Каталаунские поля – равнина в Северо-Восточной Франции, где в июне 451 г. войска Западной Римской империи в союзе с франками, вестготами, бургундами, аланами и др. разгромили гуннов и их союзников во главе с Атиллой.

– В парке? Ночью? Чего ради?

Я не знал, что на это ответить.

– Документы? – спросил второй.

Паспорт Зоммера был при мне. Светя себе фонариком, они принялись его изучать.

– Значит, вы не американец? – спросил второй.

– Нет.

– Где остановились?

– Гостиница «Мираж».

– Вы ведь недавно в Нью-Йорке? – спросил длинный.

– Недавно.

Тот, что поменьше, продолжал изучать мой паспорт. Я почувствовал неприятный холодок в желудке, уже много лет навещающий меня при встречах с полицией. Я смотрел на карусель, на лакированного белого скакуна, что в вечном протесте вскинулся на дыбы из своей постылой упряжки, потом перевел глаза на звездное небо и стал думать о том, до чего будет забавно, если меня сейчас задержат как немецкого шпиона. Коротышка все еще листал мой паспорт.

– Ну скоро ты, Джим? – спросил длинный. – Он вроде не похож на блатного.

Джим не отвечал. Длинный стал проявлять нетерпение.

– Да пойдем, Джим. – Затем он обратился ко мне: – Вы что, не знаете, что в такое время здесь опасно разгуливать в одиночку?

Я покачал головой. Должно быть, у меня другие представления об опасности. Я снова стал разглядывать карусель.

– Тут по ночам столько всякого сброду шныряет, – начал просвещать меня длинный. – Воры, грабители, прочая мразь. Что ни час, обязательно что-нибудь случается. Или вам охота, чтобы вас изувечили?

Он засмеялся. Я не ответил. Я не сводил глаз со своего паспорта, который все еще оставался в руках у второго полицейского. Паспорт – это все, что у меня было, без него я даже в Европу вернуться не смогу.

– Пройдемте, – сказал наконец Джим. Паспорт он мне не вернул.

Я последовал за ними. Мы дошли до патрульной машины, что стояла на обочине.

– Садитесь, – приказал Джим.

Я влез в машину и устроился на заднем сиденье. Мыслей не было никаких.

Уже вскоре мы выехали из парка на Пятьдесят девятую улицу. Машина остановилась. Джим обернулся и протянул мне паспорт.

– Ну вот, приятель, – сказал он. – Здесь можете выходить. А то в парке вас, чего доброго, еще кто-нибудь обидит ненароком.

Оба полицейских рассмеялись.

– Мы же человеколюбцы, – заявил длинный. – Еще какие человеколюбцы, приятель! В пределах разумного, конечно!

Я вдруг почувствовал, что весь затылок у меня взмок от пота, и рассеянно кивнул.

– Утренние газеты уже вышли? – спросил я.

– Вышли. Жив ублюдок. Ублюдкам всегда везет.

Я побрел вдоль по улице, прошел мимо «Сент-Морица», единственного виденного мной в Нью-Йорке отеля с небольшим палисадником и столиками, где можно было спокойно посидеть с газетой. В отличие от Парижа, Вены да и любого городка в Европе, где в кафе можно почитать газету, в Нью-Йорке таких кафе не было. Видимо, здесь ни у кого не хватало времени на такую ерунду. Я подошел к газетному киоску. Почему-то вдруг я ужасно устал. Проглядел первую страницу. Гитлер не убит. В остальном сообщения противоречили друг другу. Неясно, то ли это мятеж военных, то ли нет. По слухам, Берлин все еще в руках восставших частей.

Но предводители уже арестованы верными Гитлеру генералами. Сам Гитлер жив. И не в руках мятежников. Наоборот, уже успел отдать приказ всех мятежников вешать.

– Когда будут следующие газеты? – спросил я.

– Утром. Дневные выпуски. Это уже утренние.

Я в растерянности смотрел на продавца.

– Радио, – сказал он. – Радио включите. Там по всем программам всю ночь одни последние известия.

– Верно! – обрадовался я.

У меня-то радио не было. Но у Мойкова есть. Может, он уже вернулся. Я схватил такси и поехал в гостиницу. Я слишком обессилел, чтобы идти пешком. К тому же хотелось добраться как можно скорее. Меня охватила странная апатия, как будто я слышу и воспринимаю окружающее сквозь слой ваты, хотя внутри все дрожало от нетерпения.

Мойков был на месте. Никуда не ушел.

– К тебе Роберт Хирш приходил, – сообщил он мне.

– Когда?

– Часа два назад.

Как раз в то время, когда я стучался к нему в квартиру.

– Он что-нибудь передал? – спросил я.

Мойков кивнул на небольшой, поблескивающий хромированными ручками радиоприемник.

– Принес тебе вот это. «Зенит», между прочим. Очень хороший аппарат. Сказал, что тебе он сегодня наверняка понадобится.

Я кивнул.

– Больше он ничего не сказал?

– Да он только полчаса как ушел. Был взволнован, но без всякого оптимизма. Немцам, говорит, не удавалась еще ни одна революция. Им даже мятеж не по зубам. Их бог – это приказ и послушание, а уж никак не совесть. Он считает, покушение – это путч военных, и устроили они его не потому, что нацисты изверги и убийцы, для которых право – просто кровавый фарс, а потому, что войну проиграли. Да мы еще полчаса назад последние известия слушали. Когда стало ясно, что Гитлер жив и жаждет мести, Хирш ушел. А приемник тебе оставил.

– С тех пор больше ничего не передавали?

– Гитлер собирается выступить с речью. Будет убеждать народ, что его спасло провидение.

– А как же иначе. О фронтовых частях что-нибудь слышно?

Мойков помотал головой.

– Ничего, Людвиг. Война продолжается.

Я кивнул. Мойков посмотрел на меня.

– Ты, я погляжу, аж зеленый весь. С Робертом Хиршем я уже бутылку водки выпил. Но готов выпить с тобой еще одну. В такую ночь только последние нервы гробить. Или водку пить.

Я протестующе поднял руки.

– Нет, Владимир. Я и так с ног валюсь. Но радио возьму. У меня в комнате, надеюсь, есть розетка?

– Она тебе не нужна. Это портативный приемник. – Мойков все еще не сводил с меня глаз. – Слушай, не сходи с ума, – сказал он. – Прими хотя бы глоток. И вот это. – Он раскрыл свою громадную ладонь, на которой лежали три таблетки. – Чтобы заснуть. Завтра утром сто раз успеешь выяснить, что правда, а что нет. Ты уж послушай совет престарелого эмигранта, который десять раз такие же надежды переживал и одиннадцать раз их хоронил.

– Думаешь, это тоже все пойдет прахом?

– Завтра узнаем. По ночам надежда приносит странные сны. Я-то знаю: даже убийца иной раз может показаться ангелом, ежели ратует за твое дело, а не против него. Лично я все эти игры давно бросил и предпочитаю снова верить в десять заповедей. Хотя и они, как известно, весьма далеки от совершенства.

Из полутьмы возникла женская тень. Это была очень старая дама, ее серая иссохшая кожа напоминала мятую пергаментную бумагу. Мойков встал.

– Вам что-нибудь нужно, графиня?

Тень истово закивала.

– Сердечные капли, Владимир Иванович! Мои все вышли. Ох уж эти июльские ночи! Никак не заснешь. Они напоминают мне летние ночи пятнадцатого года в Петербурге. Бедный царь!

Мойков протянул ей маленькую бутылочку водки.

– Вот ваше сердечное, графиня. Спокойной ночи. Спите хорошенько.

– Попытаюсь.

Тень, шурша, удалилась. На ней было очень старомодное кружевное платье с рюшами.

– Она живет только прошлым. После революции семнадцатого время для нее остановилось. Она тогда и умерла, просто не знает об этом. – Он снова внимательно взглянул на меня. – Слишком много всего случилось за эти последние тридцать лет, верно, Людвиг? А справедливости в кровавом прошлом нет. И быть не может. Иначе пришлось бы истребить половину человечества. Ты уж поверь мне, старику, который когда-то думал так же, как ты.

Я взял приемник и пошел к себе в комнату. Окна были распахнуты. На ночном столике стояла китайская бронза. Как же давно все это было, подумал я. Я поставил приемник рядом с вазой и стал слушать новости, которые передавались нерегулярно и пулеметной скороговоркой, в коротких паузах между джазовой музыкой и рекламой виски, туалетной бумаги, летних распродаж, бензина и фешенебельных кладбищ с сухой песчаной почвой и изумительными видами. Я пытался поймать какую-нибудь заокеанскую программу, Англию, Африку, и иногда это почти удавалось, я даже разбираю отдельные слова, но они тут же тонули в трескучих помехах – то ли шторм бушевал над океаном, то ли полыхали где-то за горизонтами грозы, а может, доносились отголоски далекой битвы. Я отошел и уставился в окно, в которое всеми своими звездами безмолвно и бездонно глядела июльская ночь. Потом снова включил приемник, окунувшись в мешанину из тупой рекламы и подлинного исторического трагизма, между которыми жестяные металлические голоса не делали никаких различий, разве что реклама становилась все назойливей и громче, а новости все безотрадной. Покушение не удалось, в армии идут аресты мятежников, генералы против генералов, при этом партия убийц уже дискутирует новые методы зверств – подвергнуть заговорщиков очень медленному удушению через повешение или всего лишь обезглавить. Этой ночью Бога часто беспокоили мольбами; но он, похоже, твердо решил оставаться на стороне Гитлера. Совершенно разбитый, я заснул только под утро.

Уже днем я узнал от Мойкова, что один из постояльцев ночью умер – это был неприметный эмигрант, почти безвылазно и тихо сидевший у себя в номере. Звали его Зигфрид Заль, и умер он от инфаркта. Я его вообще ни разу не видел.

– Можешь занять его комнату, – сказал Мойков. – Она немного побольше твоей. И лучше. До ванной ближе. Цена та же.

Я отказался. Этого Мойков решительно не мог понять. Я, честно говоря, тоже.

– Вид у тебя отвратительный, – констатировал он. – Судя по всему, снотворное тебя не берет.

– Почему же, обычно берет.

Он глянул на меня неодобрительно.

– В твои годы я тоже частенько подумывал о своей личной мести и своей личной справедливости, – сказал он. – А сегодня, вспоминая себя тогдашнего, кажусь себе ребенком, который после свирепого землетрясения спрашивает, куда подевался его любимый мячик. Ты меня понял, Людвиг?

– Нет, – ответил я. – Но чтобы ты не думал, будто я окончательно свихнулся, я беру комнату Зигфрида Заля.

Я подумал, не позвонить ли Роберту Хиршу. Но мне вдруг почему-то расхотелось снова обсуждать покушение. Оно не удалось, и ничего в мире не изменилось. А значит, и говорить было не о чем.

VI

Я принес Силверу его бронзу.

– Это не копия, – сказал я.

– Ну и хорошо. Я с вас все равно ни гроша выше первоначальной цены не возьму, – возразил он. – Что продано, то продано. Мы люди честные.

– И все-таки я вам ее возвращаю.

– Но почему?

– Потому что хочу проверить с вами сделку.

Силвер полез в карман, извлек оттуда десятидолларовую банкноту, поцеловал и засунул в другой карман пиджака.

– На что вас пригласить?

– По какому случаю?

– Я заключил с братом пари, вернете вы бронзу или нет. Я выиграл. Как насчет того, чтобы выпить кофейку? Но не американского, а чешского? Американцы варят кофе до полного изничтожения вкуса и запаха. В чешской кондитерской, что напротив, так не делают. Они кофе помешивают, не доводя до кипения, тогда он не теряет свежести и аромата.

Мы перешли шумную, оживленную улицу. Поливальная машина мощными струями воды прибавала пыль. Фиолетовый фургон доставки детских пеленок чуть было не раздавил нас. Силвер увернулся от него в рискованном и по-своему грациозном пируэте. Сегодня к своим лакированным штиблетам он надел желтые носки.

– Так какую сделку вы надумали со мной проверить? – полюбопытствовал он, когда мы уже сидели в кондитерской, благоухавшей ароматами пирожных, кофе и какао.

– Хочу вернуть вам бронзу, а прибыль поделить, сорок на шестьдесят. Шестьдесят мне.

– Это у вас называется поделить?

– У меня это называется щедро поделить.

– С какой стати вы вообще предлагаете мне войти в долю, если уверены, что бронза подлинная?

– По двум причинам. Во-первых, мне ее не продать. Я никого здесь не знаю. Во-вторых, я ищу место. И не простое, а особенное: временную работу для человека, не имеющего права работать. Одним словом, работу для эмигранта.

Силвер поднял на меня глаза.

– Вы еврей?

Я кивнул.

– Беженец?

– Да. Но у меня есть виза.

Силвер задумался.

– И что бы вы хотели делать?

– Да все, что вам угодно. Убирать, каталогизировать, порядок наводить – любую нелегальную работу. На несколько недель всего, пока я не подыщу что-то еще.

– Понимаю. Предложение необычное. Вообще-то у нас огромный подвал под магазином. И там полно всякого хлама, мы сами толком не знаем, что там валяется. Вы что-нибудь смыслите в этом деле?

– Кое-что. Думаю, на разборку и каталогизацию меня хватит.

– Где вы учились?

Я достал свой паспорт. Силвер глянул на графу «Профессия».

– Антиквар, – сказал он. – Так я и думал! Коллега, значит. – Он допил свой кофе. – Пожалуй, вернемся в магазин.

Мы снова перешли улицу. После поливальной машины она уже почти успела высохнуть. Солнце пекло, в воздухе парило и воняло выхлопными газами.

– А бронза – это ваш конек? – спросил Силвер.

Я кивнул.

– Бронза, ковры, ну и еще кое-что – по мелочи.

– Где вы учились?

– В Брюсселе и Париже.

Силвер предложил мне черную тонкую бразильскую сигару. Ненавижу сигары, тем не менее я ее взял.

Я распаковал бронзовую вазу из пергаментной бумаги и еще раз посмотрел на нее при свете солнца. На короткий миг во мне снова всколыхнулась паническая тоска безмолвных ночей в гулких залах музея; я поставил вазу на столик возле витрины.

Силвер наблюдал за мной.

– Я скажу вам, что мы можем сделать, – заявил он наконец. – Я покажу эту бронзу владельцу «Лу энд Компани». Он, сколько мне известно, на днях как раз возвращается из Сан-Франциско. Сам-то я мало что в этом понимаю. Согласны?

– Согласен. А как насчет работы? Разборка, каталогизация?

– Что вы скажете об этой вещи? – спросил Силвер, указывая на столик, куда я поставил бронзу. – Хорошая, плохая?

– Посредственный Людовик Пятнадцатый, вещь провинциальная, старая, бронзовая отделка новая, – отчеканил я, в глубине души благословляя покойного Зоммера, который, как и всякий истинный художник, любил старину.

– Неплохо, – похвалил Силвер, поднося мне огня для моей бразильской сигары. – Вы знаете больше меня. По правде говоря, нам этот магазин по наследству достался. Нам – это моему брату и мне, – пояснил он. – Мы были адвокатами. Но адвокатская жизнь не для нас. Мы люди честные, не какие-то крючкотворы. А магазин получили всего несколько лет назад и еще много чего не знаем. Но нам нравится! Это все равно что жить в цыганской кибитке, только кибитка стоит на месте. И даже кондитерская есть напротив, откуда так удобно наблюдать за собственной лавочкой, спокойно поджидая клиентов. Вы меня понимаете?

– Еще как.

– Магазин стоит на месте, зато улица движется беспрерывно, – продолжал Силвер. – Чистое кино. Тут всегда что-нибудь случается. Нам это занятие куда милей, чем защищать негодяев и вымогать согласия на разводы. Да оно и приличнее. Вы не находите?

– Безусловно, – откликнулся я, втайне дивясь адвокату, который считает торговлю искусством куда более честным ремеслом, чем право.

Силвер кивнул.

– У нас в семье я оптимист. Я Близнец по гороскопу. А брат пессимист. Он типичный Рак. Магазином мы владеем вместе. Поэтому я еще должен посоветоваться с ним. Вы согласны?

– Как я могу не согласиться, господин Силвер?

– Хорошо. Зайдите дня через два, через три. Мы тогда и о бронзе будем знать поточнее. Сколько вы хотите получать за свою работу?

– Столько, чтобы хватало на жизнь.

– В отеле «Ритц»?

– В гостинице «Мираж». Там чуть-чуть дешевле.

– Десять долларов в день вас устроят?

– Двенадцать, – осмелел я. – Я заядлый курильщик.

– Но только на несколько недель, – предупредил Силвер. – Не дольше. В торговом зале нам помощь не нужна. Тут нам-то с братом вдвоем делать нечего. Вот почему в лавочке, как правило, дежурит только кто-то один. Это тоже одна из причин, по которой мы за это взялись: мы хотим зарабатывать, а не урабатываться насмерть. Я прав?

– Конечно.

– Даже странно, как хорошо мы понимаем друг друга. А ведь почти не знакомы.

Я не стал объяснять Силверу, что, когда одна из сторон только поддакивает, взаимопонимание дается удивительно легко. В магазин зашла дама с перьями на шляпе. Она вся шуршала. Видимо, на ней было сразу несколько шелковых нижних юбок. Юбки шелестели и похрустывали. Дама была сильно крашена и весьма овальных очертаний. Этаким пожилой постельный зайка с пудинговым лицом.

– У вас есть венецианская мебель? – поинтересовалась дама.

– Разумеется, и притом самая лучшая, – заверил ее Силвер, тайком давая мне знак удалиться. – До свиданья, граф Орсини, – обратился он ко мне чуть громче обычного. – Завтра утром мы доставим вам мебель.

– Но не раньше одиннадцати, – предупредил я. – От одиннадцати до полудня в «Ритц». Au revoir, mon cher.

– Au revoir²⁰, – ответил Силвер с сильным акцентом. – В одиннадцать тридцать, как часы.

– Хватит! – не выдержал Роберт Хирш. – Хватит с нас! Ты не возражаешь?

Он выключил телевизор. Самоуверенный диктор с ослепительными зубами и жирным лицом вещал с экрана о событиях в Германии. Мы о них уже слышали по двум другим программам. Самодовольный, сытый голос стал затихать, а изумленное лицо провалилось в темноту, накатившую от краев экрана к центру.

– Слава Богу! – выдохнул Хирш. – Главное достоинство этих ящиков в том, что их всегда можно выключить.

– Радио лучше, – заметил я. – Там, по крайней мере, не видишь диктора.

– Ты хочешь послушать радио?

Я покачал головой.

– Уже ни к чему, Роберт. Все сорвалось. Не воспламенилось. Это была не революция.

– Это был путч. Военными затеянный, военными подавленный. – Хирш смотрел на меня своим светлым, полным холодного отчаяния взглядом. – Это был мятеж в своем кругу, среди специалистов. Они поняли, что война проиграна. Хотели спасти Германию от разгрома. Это был патриотический мятеж, не человеческий.

– Эти вещи нельзя разделять. К тому же это был мятеж не одних военных, там и штатские были.

Хирш помотал головой.

– Можно разделять, еще как можно! Продолжай Гитлер побеждать на всех фронтах, и ничего не случилось бы. Это был не мятеж против режима головорезов – это был мятеж против

²⁰ До свиданья, мой дорогой. – До свиданья (фр.).

режима банкротов. Они восстали не против концлагерей, не против того, что людей тысячами сжигают в крематориях, – они подняли мятеж, потому что Германия в опасности.

Мне было жаль его. Хирш мучился иначе, чем я. Его жизнь во Франции в куда большей степени вдохновлялась смесью праведного гнева, сострадания и жажды приключений, чем просто моралью и пошатнувшимся мировоззрением. На одной морали он бы далеко не уехал – мигом угодил бы в ловушку. А так он, сколь это ни странно, в чем-то оказывался с нацистами почти на родственном поприще, только превосходя их. Нацисты, хоть и лишенные совести, все равно оставались моралистами, ибо были навьючены мировоззрением – гнусной черной моралью и кровавым черным мировоззрением, пусть оно и сводилось к слепому рабскому послушанию и всемогуществу любого приказа. По сравнению с ними Хирш даже имел преимущество: вместо полной боевой выкладки у него за плечами был легкий полевой ранец, и он следовал только голосу своего разума, стараясь не поддаваться под губительное воздействие эмоций. Недаром он вышел из народа, который науки и философию почитал с незапамятных времен, когда нынешние его гонители еще с деревьев не слезли. Он обладал преимуществом живого и подвижного ума – покуда ему удавалось вытеснить из сознания историческую память своего народа, вобравшую в себя два с половиной тысячелетия гонений, страданий и смирения. Ощути, вспомни он тогда в себе эту память – он тут же поплатился бы за это своей уверенностью, а вместе с ней и жизнью.

Я смотрел на Роберта. Лицо его казалось спокойным и собранным. Но точно такой же спокойный вид был в Париже у Йозефа Бэра, когда я слишком устал, чтобы ночь напролет проговорить с ним за бутылкой. А наутро Бэра нашли в его камерке повесившимся под оконным карнизом: ветер раскачивал тело и лениво пристукивал створкой окна, как сонный пономарь, бубнящий зауспокойную молитву. Кто лишился корней, тот ослаблен и подвержен напастям, которых нормальный человек и не заметит. Особенно опасным становился разум, работающий вхолостую, как жернова мельницы без зерна. Я это знал; вот почему после всех переживаний минувшей ночи почти силой вернул себя в состояние усталого и смиренного забвения. Кто научился ждать, тот надежнее защищен от ударов разочарования. Но ждать Хирш никогда не умел.

К этому добавлялся еще и своеобразный комплекс кондотьера. Хирша мучило не только то, что покушение и мятеж сорвались, – он не мог примириться с тем, что все это было так неумело, так по-дилетантски сделано. Его раздрало возмущение профессионала, углядевшего грубую ошибку.

В магазин вошла краснощекая домохозяйка. Ей требовался тостер с автоматическим отключением. Я наблюдал, как Хирш демонстрирует ей поблескивающий хромом электроприбор. Он был само терпение и даже сумел всучить даме вдобавок к тостеру еще и электрический уют; тем не менее как-то не верилось, что он сделает карьеру коммерсанта.

Я смотрел в окно. Это был час бухгалтеров. В данный момент они всегда шли обедать в драгсторы. Недолгий час освобождения, когда из клеток своих контор, продуваемых всеми сквозняками воздушного охлаждения, бухгалтеры вырывались на волю и мнили себя на два платежных разряда выше, чем было на самом деле. Они проходили решительно, самоуверенными группками, полы пиджаков вальяжно колыхались на теплом ветру, проходили, громко болтая, полные обеденной жизни и убежденности в том, что, существуя на свете справедливость, им бы давно полагалось быть шефами.

Стоя рядом, Хирш тоже смотрел на них из-за моего плеча.

– Это парад бухгалтеров. Часа через два начнется парад жен. Они разом выпорхнут и станут летать от витрины к витрине, от магазина к магазину, будут донимать продавцов, ничего не покупая, болтать друг с дружкой, сплетничать, обсуждать последние слухи, которыми их исправно пичкают газеты, и при этом неукоснительно соблюдать простейшую иерархию денег: самая богатая всегда посередке, а две спутницы поскромнее эскортируют ее с флангов. Зимой

это заметно с первого же взгляда по шубам: норка в центре, два черных каракуля по сторонам – и вперед, тупо и целеустремленно. Их мужья тем временем с еще большей целеустремленностью зашибают доллары, наживая себе ранний инфаркт. Америка – страна богатых вдов, которые, впрочем, очень быстро снова выскакивают замуж, и молодых мужчин, бедных и жадных до всего. Вот так и вертится вечный круговорот рождений и смертей. – Хирш засмеялся. – Да разве можно сравнить такую, с позволения сказать, жизнь с полным приключений и риска существованием блохи, что переносится с планеты на планету, то бишь с человека на человека и с собаки на собаку, или с путешествиями саранчи, что перелетает целые континенты, не говоря уж о жюльверновских переживаниях комара, когда его из Центрального парка забрасывает на Пятую авеню.

Кто-то постучал в окно.

– Началось воскресение из мертвых, – сказал я. – Это Равик. Или его брат.

– Да нет, это он сам, – возразил Хирш. – Он уже давно здесь. Ты не знал?

Я покачал головой. В Германии Равик был известным врачом. Он бежал во Францию, где ему пришлось нелегально работать помощником у куда менее одаренного французского врача. Я познакомился с ним в ту пору, когда он вдобавок подрабатывал медосмотрами в самом большом из парижских борделей. Он был очень хорошим хирургом. Обычно начинал операцию врач-француз, он оставался в операционной, пока пациенту делали наркоз, а уж потом входил Равик и проделывал все остальное. Он не находил в этом ничего зазорного, только радовался, что у него есть работа, что он может оперировать. Это был хирург от Бога.

– Где же ты сейчас-то работаешь, Равик? – спросил я. – И как? Ведь в Нью-Йорке официально нет борделей.

– Работаю в госпитале.

– По-черному? Нелегально?

– По-серому. Так сказать, квалифицированный вариант сиделки. Мне нужно еще раз сдать экзамен на врача. На английском языке.

– Как во Франции?

– Лучше. Во Франции было еще тяжелей. Здесь хотя бы аттестат зрелости признают.

– Почему же не признают остальное?

Равик рассмеялся.

– Дорогой мой Людвиг, – сказал он. – Неужели ты до сих пор не усвоил, что представители человеколюбивых профессий – самые ревнивые люди на свете? Теологи и врачи. Их организации защищают посредственность огнем и мечом. Я не удивлюсь, если после войны, вздумай я вернуться на родину, мне и в Германии придется еще раз сдать медицинский экзамен.

– А ты хочешь вернуться? – спросил Хирш.

Равик приподнял плечи.

– Об этом я подумаю в свой срок. «Ланский катехизис», параграф шестой: «Впереди еще целый год отчаяния. Для начала сумей пережить его».

– Сейчас-то с какой стати год отчаяния? – удивился я. – Или ты не веришь, что война проиграна?

Равик кивнул.

– Верю! Но как раз поэтому и не ободряюсь. Покушение на Гитлера не удалось, война проиграна, но немцы, несмотря ни на что, продолжают сражаться. Их теснят повсюду, однако они бьются за каждую пядь, будто это чаша Святого Грааля. Ближайший год окажется годом сокрушенных иллюзий. Никто уже не сможет поверить, что нацисты, будто марсиане, свалились на Германию с неба и надругались над бедными немцами. Бедные немцы – это и есть нацисты, они защищают нацизм, не щадя жизни. Так что от разбитых эмигрантских иллюзий останется только гора фарфоровых черепков. Кто столь истово сражается за своих якобы поработителей – тот своих поработителей любит.

– А покушение? – не унимался я.

– Не удалось, – отрезал Равик. – И даже отзвука после себя не оставило. Последний шанс безнадежно упущен. Да и разве это был шанс? Верные Гитлеру генералы придавили его в два счета. Банкротство немецкого офицерства после банкротства немецкой юстиции. А знаете, что будет самое омерзительное? Что все будет забыто, как только война кончится.

Мы помолчали.

– Равик, – не выдержал наконец Хирш, – ты что, пришел душу нам бередить? Она и так вся дырявая.

Равик изменился в лице.

– Я пришел выпить, Роберт. В последний раз у тебя еще вроде оставался кальвадос.

– Кальвадос я сам допил. Но есть немного коньяка и абсента. И бутылка американской водки «Зубровка» от Мойкова.

– Налей-ка мне водки. Вообще-то я предпочел бы коньяк, но водка не пахнет. А мне сегодня в первый раз оперировать.

– За другого хирурга?

– Нет, самому. Но в присутствии заведующего отделением. Будет присматривать, все ли я так делаю. Операция, которая двенадцать лет назад, когда мир еще не сбрендил, была названа моим именем. – Равик усмехнулся. – «Живя в опасности, даже с иронией обходишься осторожно!» По-моему, это ведь тоже из «Ланского катехизиса»? Мудрость, которую вы, похоже, забыли или которой все-таки придерживаетесь?

– Потихоньку начинаем забывать, – отозвался я. – Мы-то сдуру решили, что здесь мы в безопасности и мудрость нам больше не понадобится.

– Нет вообще никакой безопасности, – заметил Равик. – А когда в нее веришь, ее бывает меньше всего. «Отличная водка, ребята!» «Налейте мне еще!» «Мы живы!» Вот единственное, во что сейчас нужно верить. Что вы нахохлились, как мокрые курицы? Вы живы! Сколько людей приняли смерть, а так хотели пожить еще чуток, еще хоть самую малость! Помните об этом и лучше не думайте ни о чем другом, пока не кончится год отчаянья. – Он взглянул на часы. – Мне пора идти. Когда совсем падете духом, приходите ко мне в больницу. Один обход ракового отделения в два счета лечит от любой хандры.

– Ладно, – согласился Хирш. – Забери с собой «Зубровку».

– С чего вдруг?

– Твой гонорар, – пояснил Хирш. – Мы обожаем срочную терапию, даже когда она не слишком действует. А лечение депрессии еще более тяжелой депрессией – идея весьма оригинальная.

Равик рассмеялся.

– Невротикам и романтикам это не помогает. – Он забрал бутылку и заботливо уложил ее в свой почти пустой докторский саквояж. – Еще один совет, причем даром, – сказал он затем. – Не слишком-то носитесь с вашими чертовски трудными судьбами. Единственное, что вам обоим нужно, – это женщина, желательно не эмигрантка. Разделяя страдание с кем-то, страдаешь вдвойне, а вам это сейчас совсем ни к чему.

День близился к вечеру. Я только что перекусил в драгсторе, взяв самое дешевое, что было, – две сосиски и две булочки. Потом долго ел глазами рекламу мороженого, здесь оно было сорока двух сортов. Америка – страна мороженого; здесь даже солдаты на улице беззаботно лизали брикеттики в шоколадных вафлях. Этим Америка разительно отличалась от Германии: там солдат готов стоять навтыжку даже во сне, а если случится ненароком выпустить газы, то он делает вид, что это автоматная очередь.

По Пятьдесят второй улице я побрел назад в гостиницу. Это была улица стриптиз-клубов. Все стены были сплошь облеплены афишами с обнаженными или почти нагими красотками, которые по ночам медленно раздевались на глазах у тяжело сопящей публики. Позже,

ближе к ночи, перед дверями всех заведений, разодетые, будто турецкие генералы, водрузятся толстенные швейцары и забегают юркие зазывалы, наперебой расхваливая каждый свое зрелище. Улица запестрит многоцветьем и позолотой самых немыслимых ливрей и униформ, но нигде не будет видно предательских зонтов и утрированно больших сумок, по которым в Европе так легко распознать проститутку. Их на здешних улицах просто не было, а публику в стриптиз-клубах, похоже, составляли одни понурые онанисты. Проститутки здесь назывались call girls, девушки по вызову, и связаться с ними можно было по телефону, номер которого удавалось раздобыть лишь по знакомству, строго конфиденциально, поскольку запрещалось и это – полиция преследовала жриц любви, будто заговорщиков-анархистов. Моралью Америки управляли женские союзы.

Я покинул аллею онанистов и направился в кварталы бедной застройки. Здесь стояли узкие, убогого вида здания с лестницами, на верхних ступеньках которых, прислонясь к железным перилам, молчаливо и безучастно сидели местные жители. По тротуарам, около лестниц, вечно переполненные отбросами, в почетном карауле выстроились алюминиевые мусорные бачки. На проезжей части шныряющие между автомобилями подростки пытались играть в бейсбол. Их матери, как наседки, взирали на мир с высоты подоконников и лестничных ступенек. Детишки поменьше жались к ним, точно грязно-белесые мотыльки, которых вечерние сумерки и усталость заставили прибиться к этому неприглядному человеческому жилью.

Сменный портье Феликс О'Брайен стоял перед дверями гостиницы «Мираж».

– А Мойкова нет? – поинтересовался я.

– Сегодня же суббота, – напомнил О'Брайен. – Мой день. Мойков в разъездах.

– Верно, суббота. – Как же я забыл! Значит, впереди длинное, пустое воскресенье.

– Вот и мисс Фиола тоже господина Мойкова спрашивала, – вяло обронил Феликс.

– Она еще тут? Или уже ушла?

– По-моему, здесь еще. Во всяком случае, я не видел, чтобы она выходила.

Мария Фиола вышла мне навстречу из полумрака плюшевого будуара. На ней опять был ее черный тюрбан.

– У вас снова съемки? – спросил я.

Она кивнула.

– Совсем забыла, что сегодня суббота. Владимир уехал развозить клиентам свой напиток богов. Но я все предусмотрела. У меня теперь здесь припасена собственная бутылка. Припрятана у Мойкова в холодильнике. Даже Феликс О'Брайен пока что не смог ее обнаружить. Но это, конечно, долго не протянется.

Она прошла передо мной в комнатенку за стойкой и извлекла бутылку из холодильника, откуда-то из самого угла. Я поставил рюмки на столик возле зеркала.

– Вы не ту бутылку взяли, – предупредил я. – Это перекись водорода, к тому же концентрированная. Яд. – Я показал на этикетку.

Мария Фиола рассмеялась.

– Бутылка та самая. А этикетку я сама наклеила, чтобы Феликса отпугнуть. Перекись водорода, как и водка, ничем не пахнет. У Феликса нюх на спиртное просто феноменальный, но тут он ничего не учует, пока не попробует. А чтобы не попробовал – этикетка! Яд! Просто, верно?

– Все гениальные идеи просты, – ответил я, отдавая дань ее изобретательности. – Потому что они так тяжело и даются.

– Первую бутылку я тут завела себе уже несколько дней назад. Чтобы Феликс на нее не позарился, Владимир Иванович перелил водку в старую, запыленную бутылку из-под уксуса и даже бумажку приклеил с русскими буквами. Но она на следующее же утро исчезла.

– Лахман? – спросил я, пронзенный молниеносной догадкой.

Она в изумлении кивнула.

– Вы-то откуда знаете?

– Природный дар аналитика, – сухо ответил я. – Он признался в содеянном?

– Да. И в приступе раскаяния даже принес взамен вот эту бутылку. Она больше. В ту едва пол-литра набиралось, а в этой добрых три четверти. Ваше здоровье!

– И ваше! – Лурдская вода, подумал я. Лахман даже заподозрить не мог, что это водка, он же вообще непьющий. Одному Богу известно, как приняла его с такой святой водицей пуэрториканка. Впрочем, может, он как-нибудь сообразил выдать ее за сливовицу из Гефсиманского сада?

– А я люблю тут посидеть, – призналась Мария Фиола. – С прежних времен привычка осталась. Я ведь долго тут жила. Я вообще люблю гостиницы. Всегда что-нибудь случается. Люди приезжают, уезжают... встречи, расставания... самые волнующие мгновения в жизни.

– Вы так считаете?

– А вы нет?

Я задумался. В моей жизни встреч и прощаний было достаточно. Даже с лихвой. Прощаний больше. Пожалуй, возможность спокойной жизни волнует меня куда сильнее.

– Может, вы и правы, – заметил я. – Но тогда, наверное, большие отели еще интереснее?

Мария затрясла тюбаном так, что бигуди зазвенели.

– Они бесцветные. Здесь все по-другому. Здесь люди не прячут своих эмоций. Вы это по мне могли видеть. Вы тут Рауля уже встречали?

– Нет.

– А графиню?

– Только мельком.

– Тогда у вас все впереди. Еще водки? Рюмочки такие маленькие.

– Они всегда малы.

Я ничего не мог с собой поделать: при воспоминании о Лахмане мне почему-то казалось, что водка слегка пахнет ладаном. Опять вспомнился «Ланский катехизис»: «Бойся собственной фантазии: она преувеличивает, преуменьшает и искажает».

Мария Фиола потрогала пакет, лежавший рядом с ней на столике.

– Это мои парики. Рыжий, белокурый, черный, седой и даже белый. Жизнь манекенщицы – сплошная кутерьма. Я ее не люблю. Поэтому перед каждым сеансом делаю здесь последнюю остановку, а уж потом ныряю с головой во все эти переодевания. Владимир – это такой оплот спокойствия. У нас сегодня цветные съемки. А почему бы вам не пойти со мной? Или у вас другие планы?

– Да нет. Но ваш фотограф меня вышвырнет.

– Никки? Что за вздор! Там и без нас будет куча народу, не меньше дюжины. А если вам станет скучно, в любое время сможете уйти. Это не светская вечеринка.

– Хорошо.

Я бы за что угодно ухватился, лишь бы избежать одиночества моей гостиничной комнаты. В этой комнате умер эмигрант Заль. В шкафу я нашел несколько писем. Заль их так и не отправил. Одно было адресовано Рут Заль в исправительно-трудовой лагерь Терезиенштадт под Веной. «Дорогая Рут, я уже так давно ничего о тебе не слышал, – надеюсь, ты здорова и у тебя все в порядке». Я-то знал, что концлагерь Терезиенштадт – сборный пункт для евреев, которых оттуда переправляли в крематории Освенцима. Так что Рут Заль, по всей вероятности, давным-давно сожгли. Тем не менее письмо я отправил. Оно было полно отчаяния, раскаяния, расспросов и бессильной любви.

– Будем брать такси? – спросил я на улице, неприязненно вспомнив о своем порядком отошавшем бумажнике.

Мария Фиола мотнула головой.

– В гостинице «Мираж» такси берет только Рауль. Я это отлично помню по временам моей здешней жизни. Все остальные ходят пешком. И я тоже. Причем с удовольствием. А вы разве нет?

– Я-то пешеход-марафонец. Особенно в Нью-Йорке. Два-три часа прогулки для меня сущий пустяк. – Я умолчал о том, что завзятым любителем моционов стал только в Нью-Йорке, потому что здесь мне не надо опасаться полиции. Это давало ликующее ощущение свободы, к которому я все еще не привык.

– Нам недалеко, – сказала девушка.

Я хотел взять у нее пакет с париками, но она не позволила.

– Лучше я сама понесу. Эти штуки ужасно мнутся. Их надо держать в руках крепко, но бережно и нежно, иначе они выскользнут и не смогут избежать падения. Как женщины, – добавила она вдруг и рассмеялась. – Глупость какая! У меня порочная тяга к банальностям. Очень освежает, когда вокруг тебя целый день одни завязые острословы.

– Так уж прямо одни?

Она кивнула.

– Это у них профессиональное. Шуточки, парадоксы, ирония – наверное, так проще скрыть легкий налет гомосексуальности, который лежит на всем, что связано с модой.

Мы шествовали против движения, рассекая встречный поток пешеходов. Мария шла быстро, энергичным и широким шагом. Она не семенила и голову держала высоко, как фигура на носу галеона, – из-за этого и сама она казалась выше ростом.

– У нас сегодня большой день, – сообщила она. – Цветные съемки. Вечерние платья и меха.

– Меха? В такую жару?

– Это не важно. Мы всегда опережаем погоду на один, а то и на два сезона. Летом готовится коллекция осенней и зимней одежды. Сперва фотографируют модели. А потом ведь надо еще успеть все пошить и развезти по оптовикам. На это уходят месяцы. Так что со временем года у нас всегда какая-то свистопляска. Живешь как бы в двух временах сразу – в том, которое на улице, и в том, которое на съемках. Иногда, бывает, и путаешь. И вообще, есть во всем этом что-то цыганское, ненастоящее, что ли.

Мы свернули в узкий переулок, освещенный только с двух концов белыми неоновыми огнями киосков и закусовых по углам. Мне вдруг пришло в голову, что впервые в Америке я иду по улице с женщиной.

В огромной, почти голой комнате, где было расставлено некоторое количество стульев и несколько светлых передвижных стенок, высвеченных яркими лампами, а также имелся небольшой подиум, собралась примерно дюжина людей. Фотограф Никки дружески обнял Марию Фиолу, вокруг носились обрывки разговоров, меня между делом представили всем собравшимся, тут же подали виски, и уже вскоре я очутился в кресле, несколько на отшибе от этой суеты и всеми забытый.

Тем спокойнее мог я наблюдать за необычным, новым для меня зрелищем. Большие картонные коробки уносили за занавеску, там распаковывали и затем, уже пустые, ставили на место. За ними, по отдельности, шли манто и шубы, вызвавшие интенсивные дебаты – что, как и в какой последовательности снимать. Помимо Марии здесь были еще две манекенщицы – блондинка, туалет которой почти исчерпывался изящными серебристыми туфельками, и очень смуглая брюнетка.

– Сперва манто, – решительно объявила энергичная пожилая дама.

Никки запротестовал. Это был худощавый человек с песочными волосами и тяжелой золотой цепью на запястье.

– Сперва вечерние платья! Иначе они под шубами помнутся!

– Девушкам совершенно не обязательно надевать их под шубы! Наденут что-нибудь другое. Или вовсе ничего. Меха увезут первыми. Сегодня же ночью!

– Хорошо, – согласился Никки. – Эти скорняки, похоже, не слишком нам доверяют. Значит, сперва меха. Давайте вот эту шляпку из норки. С турмалином.

Снова завязалась дискуссия, по-английски и по-французски, – как фотографировать шляпку. Я прислушивался к интонациям, стараясь не слишком вникать в суть. Чрезмерное и чуть напускное оживление участников напоминало театральное закулисье – будто идет репетиция «Сна в летнюю ночь» или «Кавалера роз». Казалось, еще немного – и сюда под пенье фанфар впорхнет Оберон.

Внезапно лучи юпитеров пучком сошлись на одной из передвижных стенок, к которой в срочном порядке придвинули огромную вазу с искусственным стеблем дельфиниума. Сюда и вышла блондинка в серебристых туфельках и бежевой норковой шляпке. Директриса-распорядительница еще раз пригладила мех, два юпитера, установленные ниже остальных, дружно вспыхнули, и манекенщица застыла, словно шалунья-преступница под дулом полицейского пистолета.

– Снято! – крикнул Никки.

Манекенщица сменила позу. Директриса тоже.

– Еще раз! – потребовал Никки. – Чуть правее! Мимо камеры смотри! Хорошо!

Я откинулся в кресле. Контраст между моим реальным положением и этим зрелищем поверг меня в какое-то потустороннее состояние, в котором, впрочем, не было ни отрешенности, ни замешательства, ни испуга. Скорее это было уже почти неведомое чувство глубокой успокоенности и мягкого, тихого блаженства. Мне вдруг пришло в голову, что со времени моего изгнания я почти не был в театре, а тем паче – в опере. Случайный киносеанс – вот и все, что я мог себе позволить, да и то обычно лишь затем, чтобы спрятаться, укрыться, переждать пару часов.

Я наблюдал за продолжением съемок норковой шапочки и белокурой манекенщицы, которая, казалось, с каждым новым кадром становится существом все более эфемерным. Представьте себе, что у нее, как у простых смертных, есть элементарные человеческие потребности, было все трудней. Видимо, дело было в очень сильном и ярком освещении, которое разительно преображало реальность, как бы лишая ее телесности. Кто-то принес мне новую порцию виски. Хорошо, что я согласился сюда пойти, думал я. Впервые за долгое время я почувствовал, что отдыхаю: гнет, который ощущался более или менее осознанно, постоянно и почти физически, вдруг спал.

– Мария! – крикнул Никки. – Теперь каракульчу!

В тот же миг Мария очутилась на подиуме, тоненькая и стройная в окутавшем ее черном, матово поблескивающем мантии, в изящной, надетой чуть набекрень плоской шапочке в форме берета из того же шелковистого, переливчатого меха.

– Хорошо! – воскликнул Никки. – Стой так! Стой и не двигайся! Нет! – заорал он на директрису, которая попыталась что-то поправить или одернуть. – Нет! Хэтти, прошу тебя! После. Мы еще сделаем много снимков. А этот пусть будет так, ненароком, без всякой позы!

– Но ведь так не видно...

– Потом, Хэтти! Снимаю!

Мария замерла, но не так, как прежде замирала блондинка. Она просто остановилась, будто стояла так всегда. Боковые юпитеры нащупали ее лицо и сверкнули в глазах, которые вдруг наполнились глубокой и чистой синевой.

– Хорошо! – заявил Никки. – Теперь нараспашку!

Хэтти подскочила к Марии. А та медленно распахнула мантию, словно два крыла огромной бабочки. Прежде мантия казалась ей почти узким, на самом же деле оно было широкое, с подбивкой белого шелка, на котором четко выделялись большие серые ромбы.

– Так и держи! – сказал Никки. – Как павлиноглазка! Крылья пошире!

– Павлиноглазки не черные. Они фиолетовые, – поправила его Хэтти.

– А у нас они черные, – надменно ответил Никки.

Оказалось, однако, что Хэтти в бабочках разбирается.

Она утверждала, что Никки имел в виду траурницу. Тем не менее последнее слово все равно осталось за Никки. В моде никаких траурниц нет, решительно заявил он.

– Ну и как вам это? – раздался вдруг чей-то голос у меня за спиной.

Бледный полноватый мужчина со странно поблескивающими вишенками глаз плюхнулся в складное кресло рядом со мной. Кресло жалобно всхлипнуло и завибрировало.

– Великолепно, – ответил я совершенно искренне.

– У нас, конечно, теперь уже нет мехов от Баленсиаги²¹ и других великих французских закройщиков, – посетовал мужчина. – Все из-за войны. Но Манбоше²² тоже неплохо смотрится, вы не находите?

– Еще бы! – Я понятия не имел, о чем он говорит.

– Что ж, будем надеяться, эта проклятая война скоро кончится и нам снова начнут поставлять первоклассный материал. Эти шелка из Лиона...

Мужчина вдруг поднялся – его позвали. Причину, по которой он проклинал войну, я даже не считал смешотворной; напротив, здесь, в этом зале, она представилась мне едва ли не из самых весомых.

Начались съемки вечерних платьев. Внезапно возле меня очутилась Мария. На ней было белое, очень облегающее платье с открытыми плечами.

– Вы не скучаете? – спросила она.

– Нисколько. – Я взглянул на нее. – По-моему, у меня даже начались приятные галлюцинации. В противном случае мне бы не померещилось, что диадему, которая у вас в волосах, я еще сегодня после обеда видел в витрине у «Ван Клиф и Арпелз». Она там выставлена как диадема императрицы Евгении. Или это была Мария Антуанетта?

– А вы наблюдательны. Это действительно от «Ван Клиф и Арпелз». – Мария засмеялась.

– Вы ее купили? – спросил я. В этот миг для меня не было ничего невозможного. Как знать, вдруг эта девушка – беглая дочь какого-нибудь короля мясных консервов из Чикаго. В газетах, в колонке светских сплетен, мне и не такое случалось читать.

– Нет. И даже не украла. Просто журнал, для которого мы фотографируемся, взял ее напрокат. Вон тот мужчина сразу по окончании съемок увезет ее обратно. Это служащий фирмы «Ван Клиф», он охраняет драгоценности. А что вам понравилось больше всего?

– Черное кепи из каракульчи, которое на вас было. Это ведь Баленсиага?

Она обернулась и уставилась на меня во все глаза.

– Это Баленсиага, – медленно повторила она. – Но вы-то откуда знаете? Вы что, тоже из нашего бизнеса? Иначе откуда вам знать, что кепи от Баленсиаги?

– Пять минут назад я этого еще не знал. Я бы считал, что это марка автомобиля.

– Откуда же сейчас знаете?

– Вон тот бледный незнакомец меня просветил. Вернее, он только назвал фамилию, а уж остальное я сам домыслил.

²¹ Баленсиага, Кристоаль (1895–1972) – знаменитый испанский кутюрье баскского происхождения. В 30-е годы имел дома моды в Барселоне и Мадриде. Во время гражданской войны покинул Испанию и открыл дом моды в Париже. Его идеи доминировали в высокой моде 50-х годов. В конце 60-х вернулся в Испанию.

²² Манбоше (Ман Руссо Боше, 1891–1976) – знаменитый модельер, первый американский кутюрье, добившийся успеха во Франции. В 1930 г. открыл свой собственный дом моды в Париже. После оккупации Франции гитлеровскими войсками вернулся в Америку и открыл дом моды в Нью-Йорке. Спроектировал женскую форму для американской армии. Отошел от дел в 1971 г.

– Это действительно от Баленсиаги, – сказала она. – Привезли на бомбардировщике. На «летающей крепости». Контрабандой.

– Отличное применение для бомбардировщика. Если бы все бомбардировщики так использовались, наступил бы золотой век.

Она засмеялась.

– Значит, вы не шпион от конкурентов и у вас не припрятан в кармане миниатюрный фотоаппарат, чтобы похитить наши секреты зимней моды? Даже жалко! Но похоже, за вами все равно глаз да глаз нужен. Выпивки у вас достаточно?

– Спасибо, да.

– Мария! – позвал фотограф. – Мария! Съемка!

– Потом мы все еще на часок заедем в «Эль Марокко», – сообщила девушка. – Вы ведь тоже поедете? Вам меня еще домой провожать.

И прежде чем я успел ответить, она уже стояла на подиуме. Разумеется, я не мог с ними ехать. У меня просто денег не хватит. Впрочем, рано об этом думать. Пока что я целиком отдался флюидам этой атмосферы, где шпионом считается тот, кто норовит похитить покрывало меховой шапочки, а не тот, кого всю ночь пытаются и на рассвете расстреливают. Здесь даже время подставное, подмененное. На улице жарко, а тут зимнее царство – норковые шубки и лыжные куртки нежатся в сиянии юпитеров. Некоторые модели Никки снимал в новых вариациях. Смуглая манекенщица вышла в рыжем парике, Мария Фиола в белокуром, а потом и вовсе в седом – за несколько минут она постарела лет на десять. Из-за этого у меня возникло странное чувство, будто я знаю ее целую вечность. Манекенщицы уже не давали себе труда уходить за занавеску и переодевались у всех на глазах. От яркого прямого света они устали и были возбуждены. Но окружающие мужчины не обращали на них почти никакого внимания. Некоторые явно были гомосексуалистами, другие, вероятно, просто привыкли к виду полубожеженных женщин.

Когда картонные коробки были наконец убраны, я объявил Марии Фиоле, что никуда с ней не иду. Где-то я уже слышал, что «Эль Марокко» – самый шикарный ночной клуб во всем Нью-Йорке.

– Но почему? – удивилась она.

– Я сегодня не при деньгах.

– Какой же вы дурачок! Мы все приглашены. Журнал за все платит. А вы сегодня со мной. Неужели вы думаете, я бы позволила вам платить?

Не зная, следует ли расценить ее последние слова как комплимент, я смотрел на эту чужую, сильно накрашенную женщину в белокуром парике, с диадемой, сверкающей изумрудами и бриллиантами, и внезапно почувствовал прилив необъяснимой нежности, будто мы с ней были сообщниками.

– А разве не нужно сначала сдать драгоценности? – спросил я.

– Человек от «Ван Клифа» пойдет с нами. Когда мы носим их украшения в таких местах, фирма расценивает это как рекламу.

Я больше не протестовал. И уже ничему не удивлялся, когда мы сидели в «Эль Марокко», в этом царстве света, музыки и танцев, где полосатые диванчики дышали уютом и искусственное ночное небо, на котором всходили и заходили звезды, сиянием искусственной луны освещало все это призрачное великолепие. В соседнем зале венский музыкант играл немецкие и венские песни и пел их по-немецки, хотя с обеими странами, с Германией и Австрией, Америка вела войну. В Европе такое было бы исключено. Певца мигом бросили бы за решетку в тюрьму или в концлагерь, а то и просто линчевали бы на месте. А здесь солдаты и офицеры, оказавшиеся в этот вечер среди публики, с энтузиазмом подпевали песням врага, насколько это было им доступно на чужом языке. Для всякого, кто был свидетелем, как в Европе понятие «терпимость» из благородного знамени прошлого столетия превратилось в презритель-

ное ругательство в нынешнем, все это казалось удивительным оазисом, обретенным в пустыне в час утраты всех надежд. Я не знал, да и не хотел знать, чем это объяснить – беззаботной ли самоуверенностью другого континента или его действительным великодушным превосходством. Я просто сидел тут, среди всех этих певцов и танцоров, среди множества неожиданных и безвестных друзей, в мерцающих бликах свечей, подле незнакомки в неестественном белокуром парике, чья заемная диадема сияла блеском подлинных драгоценностей, сидел мелким дармоедом перед бокалом выданного мне шампанского, паразитом, который купается в дареном блаженстве этого вечера, словно взял его напрокат и завтра должен отнести в магазин «Ван Клиф и Арпелз». А в кармане у меня похрустывало одно из неотправленных писем эмигранта Заля: «Дорогая Рут, меня замучило раскаяние, я так поздно попытался вас спасти; но кто же думал, что они не пощадят даже детей и женщин? Да у меня и денег не было, я ничего не мог поделывать. Я так надеюсь, что вы все-таки живы, хотя и не можете мне писать. Я молюсь...» Дальше прочесть было нельзя, чернила размылись от слез. Я не решался отправлять письмо из опасения, что оно может повредить женщине, если та все-таки еще жива. Теперь я точно знал: я его и не отправлю.

VII

Александр Силвер начал махать мне еще издали, как только заметил. Его голова вдруг показалась в витрине между одеянием мандарина и молитвенным ковром. Раздвинув руками и то, и другое, он замахал еще энергичней. Прямо у него в ногах невозмутимо взидала на прохожих каменная голова кхмерского Будды. Я вошел.

– Ну, что нового? – спросил я, отыскивая глазами свою бронзу.

Он кивнул.

– Я показал эту вещь Франку Каро Ван Лу. Это подделка.

– Правда? – изумился я, не понимая, с какой тогда стати он еще издали и столь радостно меня приветствовал.

– Но я все равно, разумеется, беру ее обратно. Вы не должны терпеть из-за нас убытки.

Силвер потянулся за бумажником. На мой взгляд, слишком уж быстро потянулся. К тому же что-то в его лице не вязалось с тоном и смыслом его сообщения.

– Нет, – сказал я, понимая, что рискую половиной своего скудного состояния. – Я оставляю ее себе.

– Хорошо, – согласился Силвер. Но не выдержал и рассмеялся. – Значит, первый закон антиквара вы уже знаете. Он гласит: «Не дай себя одурачить».

– Эту мудрость я давно усвоил, и не антикваром, а простой божьей тварью. Значит, бронза подлинная?

– Почему вы так решили?

– По трем причинам, но все они несущественны. Оставим эту пикировку. Итак, бронза подлинная?

– Каро считает, что она подлинная. Он просто не понимает, что может свидетельствовать об обратном. По его мнению, некоторые музейные работники, из молодых, желая блеснуть знаниями, иной раз перегибают палку. Особенно если их только что приняли на службу: они тогда стараются доказать, что разбираются в деле лучше своих предшественников.

– Во сколько же он ее оценил?

– вещь не выдающаяся. Добротное Чжоу среднего периода. На аукционе в «Парк Бернет» она может уйти сотни за четыре, ну за пять. Не больше. Китайская бронза очень упала в цене.

– Почему?

– Потому что все подешевело. Война. И коллекционеров китайской бронзы не так уж много.

– Тоже из-за войны?

Силвер рассмеялся. Во рту у него оказалось много золота.

– Сколько вы хотите за вашу долю?

– Во-первых, то, что я заплатил. И половину от того, что сверх этой цены. Не сорок на шестьдесят. Пятьдесят на пятьдесят.

– Эту бронзу еще продать надо. Для аукциона Каро оценил ее так, но в действительности она может принести лишь половину. А то и меньше.

Он был прав. Стоимость бронзы – это одно, а цена, которую за нее можно выручить, – совсем другое. Я прикидывал, смогу ли сам предложить бронзу Каро.

– Пойдемте-ка выпьем кофе, – предложил Силвер. – Самое подходящее время для кофе.

– Вот как? – удивился я. Было десять часов утра.

– А для кофе любое время самое подходящее.

Мы перешли улицу. Сегодня к лакированным штиблетам и зеленоватым клетчатым брюкам Силвер надел сиреневые носки. В них он сильно напоминал иудейского епископа, только в мелкую клеточку.

– Я скажу вам, что я намерен предпринять, – начал он. – Я позвоню в музей, где приобрел эту бронзу, и сообщу, что продал ее. А клиент пошел к «Лу и Каро», где вазу признали подлинной. И скажу, что могу попытаться выкупить вещь обратно.

– По старой цене?

– По цене, которую мы с вами обсудим за второй чашкой кофе. Как он вам сегодня?

– Пока что хороший. Но почему вы хотите предложить бронзу тому же музею? Вы же поставите в неловкое положение того человека, который объявил ее копией, а то и приведете его в ярость.

– Правильно. Пусть он снова ее забракует. Тогда совесть моя будет чиста, я свой долг выполнил. Торговля искусством в наши дни – все равно что сельская лавочка: все антиквары страшные сплетники. Эксперту из музея всю историю с вазой рассказали бы уже завтра, и тогда этот музей как клиент потерян для меня навсегда. Понимаете?

Я осторожно кивнул.

– Но если я ему первому предложу эту бронзу, он мне только спасибо скажет. Даже обязан сказать. Если он откажется – очень хорошо, у нас развязаны руки. В нашем деле есть неписанные законы, и это как раз один из них.

– Сколько же вы с него запросите? – поинтересовался я.

– Цену, которую вы мне якобы заплатили. Не полсотни, конечно. Двести пятьдесят.

– Сколько вы заберете себе?

– Семьдесят пять. – Силвер сопроводил свои слова щедрым жестом. – Не сотню, только семьдесят пять. Мы не изверги. Ну, что скажете?

– Это, конечно, весьма элегантно, но вся элегантность только за мой счет. Лу сказал, что на аукционе в «Парк Бернет» эта вещь могла бы...

Силвер прервал меня:

– Мой дорогой господин Зоммер, на бирже и в торговле искусством нельзя задира́ть цены до крайности, этак недолго и все потерять. Не устраивайте здесь покер! Когда видишь хорошую прибыль, хватай без раздумий. Это был девиз Ротшильда. Запомните это на всю жизнь!

– Хорошо, – сдался я. – Но за эту первую сделку меня следует поощрить авансом. Как-никак я рисковал половиной своего состояния.

– Мы делим шкуру неубитого медведя. Музей еще откажется. И нам придется в муках искать покупателя. Времена-то какие!

– А сами-то вы сколько предложили бы, если бы знали, что бронза подлинная? – спросил я.

– Сто долларов, – выпалил Силвер как из пистолета. – И ни центом больше.

– Господин Силвер! И это средь бела дня, в половине одиннадцатого!

Силвер махнул миловидной чешской официантке.

– Попробуйте-ка лучше чешское миндальное пирожное, – сказал он мне. – С кофе очень вкусно.

– И это средь бела дня?!

– Почему бы и нет? В жизни надо уметь быть независимым. Иначе ты уже не человек, а машина.

– Хорошо. А как насчет работы для меня?

Силвер переправил мне на тарелку миндальное пирожное. Оно и вправду выглядело очень соблазнительно: толстый слой орехов и сахарной пудры на песочном тесте.

– Я переговорил с братом. Можете приступать завтра же. Независимо от того, что мы решим с бронзой.

У меня перехватило дыхание.

– За пятнадцать долларов в день?

Силвер глянул на меня с укором.

– За двенадцать пятьдесят, как условились. Я начинаю думать, уж не гой ли вы. Еврей никогда не опустился бы до таких дешевых трюков.

– Верующий еврей, наверное, не опустился бы. Но я только несчастный еврей-атеист и отстаиваю свое право на существование, господин Силвер.

– Тем хуже. Что, у вас правда так мало денег?

– Даже еще меньше. У меня долги. Я должен адвокату, который меня сюда протащил.

– Адвокаты могут подождать. Они привычные. По себе помню.

– Но этот адвокат мне еще понадобится. И даже очень скоро, мне ведь вид на жительство продлевать. Он наверняка ждет, что я с ним сперва рассчитаюсь.

– Перейдемте-ка в магазин, – сказал Силвер. – Сердце разрывается вас слушать.

Мы снова ринулись в поток автомобилей, как иудеи в Красное море, и счастливо достигли другого берега. Все-таки душой Силвер был рьяный анархист. Сигналы светофора он игнорировал убежденно и бестрепетно. Это напоминало своеобразный слалом с риском ежесекундно угодить на больничную койку.

– Если любишь посидеть в кафе, наблюдая за лавочкой со стороны, надо уметь не упустить клиента. Вот я и бегаю через улицу, презрев смерть и страх. – Он достал из кармана свой потертый бумажник. – Значит, вам нужен аванс. Как насчет ста долларов?

– Это за работу или за бронзу?

– За то и за другое.

– Ладно, – согласился я. – Но только за бронзу. За работу отдельный расчет. Лучше всего, если вы будете мне платить в конце каждой недели.

Силвер неодобрительно покачал головой.

– Еще какие будут пожелания? Платить прикажете серебром или золотыми слитками?

– Не надо слитками. И я вовсе не кровожадная акула. Просто это первые деньги, которые я в Америке буду зарабатывать! Они дают мне надежду, что я не стану здесь нищенствовать и не помру с голоду. Понимаете? Отсюда, наверное, и некоторая моя ребячливость.

– Оригинальная у вас манера быть ребячливым, ничего не скажешь. – Силвер извлек десять десятидолларовых банкнот. – Это аванс за нашу совместную сделку. – Он добавил еще пять десятков. – Цена, уплаченная вами за бронзу. Все правильно?

– Даже благородно. Когда мне завтра заступать?

– Не в восемь. С девяти. Это еще одно преимущество работы в нашем бизнесе. В восемь утра люди антиквариат не покупают.

Я запихнул деньги в карман и попрощался. Улица встретила меня шумом и ослепительным сиянием дня. Я еще не так долго пребывал на воле, чтобы позабыть прямую связь жизни

и денег. Пока что это было для меня одно и то же. Деньги просто-напросто означали жизнь. У меня в кармане похрустывали три недели жизни.

Был полдень. Мы сидели в магазине Роберта Хирша – Равик, Роберт Хирш и я. На улице только-только вступил в свои права час бухгалтеров.

– Ценность человека – вещь очень относительная, – рассуждал Равик. – Об эмоциональной стороне говорить вообще не будем, это неизмеримо и сугубо индивидуально: человек, который для кого-то дороже всех на свете, для другого ноль без палочки. С химической точки зрения в человеке тоже добра немного – в общей сложности примерно на семь долларов извести, белка, целлюлозы, жира, много воды, ну и еще кое-какая мелкая всячина. Дело приобретает, однако, некоторый интерес, как только встает вопрос об уничтожении человека. Во времена Цезаря, в Галльскую войну, убийство одного солдата обходилось в среднем в семьдесят центов. В эпоху Наполеона, при огнестрельном оружии, артиллерии и всем прочем, цена одного убийства поднимается уже до двух тысяч долларов, и это при весьма скупой заложенной калькуляции расходов на военное обучение. В Первую мировую, учитывая огромные затраты на артиллерию, оборонительные укрепления, военные корабли, боеприпасы и так далее, по самым скромным подсчетам, одна солдатская жизнь обходилась примерно в десять тысяч. Ну, а в этой войне, по прикидкам специалистов, убийство одного бухгалтера, предварительно засунутого в военный мундир, стоит уже тыщ пятьдесят.

– Тогда войны, по идее, постепенно должны отмереть сами собой: слишком это становится дорогостоящим делом – убить человека, – заметил Хирш. – Вполне благородная, высоко моральная причина с ними покончить.

Равик покачал головой.

– К сожалению, не все так просто. Военные возлагают большие надежды на новое атомное оружие, которое сейчас разрабатывается. Благодаря ему непомерный рост расходов на массовые бои будет остановлен. Ожидается даже понижение цен до уровня наполеоновских.

– Две тысячи долларов за труп?

– Да, если не меньше.

По телевизору тем временем своим чередом шел полуденный выпуск последних известий. Дикторы довольными голосами преподносили цифры убитых. Они делали это каждый день, днем и вечером, в качестве своеобразной приправы к обеду и ужину.

– Генералы ожидают даже резкого падения цен, – продолжал Равик. – Они же изобрели тотальную войну. Теперь вовсе не обязательно ограничивать себя уничтожением только дорогостоящих солдатских жизней на фронтах. Теперь можно с большой помпой использовать тыл. Тут очень помогли бомбардировщики. Они не щадят ни женщин, ни детей, ни стариков, ни больных. И люди уже привыкли. – Он показал на диктора на экране. – Вы только посмотрите на него! Источает благодать, как поп с амвона!

– Да, тут высшая справедливость, – заметил Хирш. – Военные всегда за нее ратовали. Почему, собственно, опасностям войны должны подвергаться одни солдаты? Почему не разделить риск на всех? В конечном счете это простое логическое предвидение. Дети подрастут, женщины нарожают новых солдат, – так почему же не прикончить их сразу же, прежде чем они начнут представлять собой военную опасность? Гуманизм военных и политиков не знает границ! Умный врач тоже не станет дожидаться, пока эпидемия выйдет из-под контроля. Верно, Равик?

– Верно, – отозвался Равик неожиданно упавшим, усталым голосом.

Роберт Хирш взглянул на него.

– Выключить этого говоруна?

Равик кивнул.

– Выключи, Роберт. Эту оптимистическую пулеметную дребедень невозможно выдерживать долго. Знаете, почему всегда будут новые войны?

– Потому что память подделывает воспоминания, – сказал я. – Это сито, которое пропускает и предает забвению все ужасное, превращая прошлое в сплошное приключение. В воспоминаниях-то каждый герой. О войне имеют право рассказывать только павшие – они прошли ее до конца. Но их-то как раз заставили умолкнуть навеки.

Равик покачал головой.

– Просто человек не чувствует чужой боли, – сказал он. – В этом все дело. И чужой смерти не чувствует. Проходит совсем немного времени, и он помнит уже только одно: как сам уцелел. Это все наша проклятая шкура, которая отделяет нас от других, превращая каждого в островок эгоизма. Вы знаете по лагерям: скорбь по умершему товарищу не мешала при возможности занывать его хлебную пайку. – Он поднял рюмку. – Иначе разве смогли бы мы попивать тут коньячок, покуда этот болван сыплет цифрами человеческих потерь, будто речь о свиных тушах?

– Нет, – согласился Хирш. – Не смогли бы. Ну а жить смогли бы?

За окном на тротуаре женщина в темно-синей блузке отвесила оплеуху мальчонке лет четырех. Тот вырвался и пнул мать ногой. Затем побежал, чтобы мать не смогла его настигнуть, корча по пути гримасы. Оба исчезли в толпе торжественно вышагивавших бухгалтеров.

– Военные нынче столь гуманны, что того и гляди изобретут новое понятие, – сказал Хирш. – Они не любят говорить о миллионах убитых, вместо этого они вскоре начнут украшать свои сводки сведениями о мегатрупках. Десять мегатрупков куда благозвучнее, чем десять миллионов убитых. Как же далеки те времена, когда военные в Древнем Китае считались самой низшей человеческой кастой, даже ниже палачей, потому что те убивают только преступников, а генералы – ни в чем не повинных людей. Сегодня они у нас вон в каком почете, и чем больше людей они отправили на тот свет, тем больше их слава.

Я обернулся. Равик уже лежал в кресле, закрыв глаза. Я знал это его свойство, профессиональное свойство многих врачей – в любую минуту он мог заснуть и столь же легко проснуться.

– Уже спит, – сказал Хирш. – Гекабомбы, мегатрупки и гримасы случая, которые мы именуют историей, проносятся сквозь его дрему бесшумным дождем. Это как раз великое благо нашей шкуры: она отделяет нас от мира, хоть Равик только что ее за это и проклинал. Вот оно – блаженство безучастности!

Равик открыл глаза.

– Да не сплю я! Я повторяю по-английски вопросы при гистеротомии, идеалисты вы несчастные! Или вы забыли «Ланский катехизис»? «Мысли о неотвратимом ослабляют в минуты опасности».

Он встал и посмотрел на улицу. Бухгалтеры исчезли, клерков сменил парад жен во всей их попугайской раскраске. В цветастых платьях жены спешили за покупками.

– Так поздно уже? Мне пора в больницу!

– Хорошо тебе над нами потешаться, – сказал Хирш. – У тебя, по крайней мере, приличная работа есть.

Равик засмеялся:

– Приличная, Роберт, но безнадега полная!

– Что-то ты сегодня неразговорчив, – сказал мне Хирш. – Или тебе уже наскучили наши обеденные посиделки?

Я покачал головой.

– Я с сегодняшнего дня капиталист и даже служащий. Бронзу продали, а завтра с утра я начинаю разбирать у Силверов подвал. Все никак не опомнюсь.

Хирш усмехнулся:

– Ничего себе у нас с тобой профессии!

– Против моей я ничего не имею, – сказал я. – Ее всегда можно толковать и в символическом смысле. Разбирать старье, сбывать старье! – Я достал деньги Силвера из кармана. – На вот, возьми хотя бы половину. Я тебе и так слишком много должен.

Он отмахнулся.

– Выплати лучше что-нибудь Левину и Уотсону. Они тебе скоро понадобятся. С этим шутить не надо. Власть – она всегда власть, не важно, идет война или кончается. Как твои языковые познания?

Я рассмеялся.

– С сегодняшнего утра почему-то понимаю все гораздо лучше. Переход в статус обывателя творит чудеса. Американская сказка стала приносить заработок, американская сумятица превращается в трудовые будни. Будущее начинается. Работа, заработок, безопасность.

Роберт Хирш глядел на меня скептически.

– Считаешь, мы еще на это годимся?

– А почему нет?

– А если годы изгнания безнадежно нас испортили?

– Не знаю. У меня сегодня только первый день обывательского существования – и то не вполне легального. А значит, я по-прежнему представляю интерес для полиции.

– После войны многие не могут найти себя в мирных профессиях, – проронил Хирш.

– До этого еще дожить надо, – сказал я. – «Ланский катехизис», параграф девятнадцатый: «Заботы о завтрашнем дне ослабляют рассудок сегодня».

– Что тут происходит? – спросил я Мойкова, войдя вечером в плюшевый будуар.

– Катастрофа! Рауль! Наш самый богатый постоялец! Апартаменты люкс, с гостиной, столовой, личной мраморной ванной и телевизором в спальне! Решил покончить с собой!

– И давно?

– Сегодня после обеда. Когда он потерял Кики. Друга, с которым Рауль жил четыре года.

Где-то между полкой с цветами в горшках и пальмой в кадучке раздался громкий, душе-раздирающий всхлип.

– Что-то уж больно много в этой гостинице плачут, – сказал я. – И все больше под пальмами.

– В каждой гостинице много плачут, – заметил Мойков.

– И в «Ритце» тоже?

– В «Ритце» плачут, когда происходит биржевой крах. А у нас – когда человек вдруг в одночасье понимает, что он безнадежно одинок, хотя раньше так не думал.

– Но ведь с тем же успехом этому можно радоваться. Даже отпраздновать свою свободу.

– Или свою бессердечность.

– А что, этот Кики умер?

– Хуже! Заключил помолвку. С женщиной! Вот где для Рауля главная трагедия. Если бы Кики обманул его с другим homo, это осталось бы в семье. Но с женщиной! Переметнуться в лагерь вечного врага! Это же предательство! Все равно что против святого духа согрешить!

– Вот бедолаги! Им же вечно приходится воевать на два фронта. Отражать конкуренцию мужчин и женщин.

Мойков ухмыльнулся.

– Насчет женщин Рауль одарил нас тут не одним интересным сравнением. Самое незамысловатое было – тюлени без шкурок. И по поводу столь обожаемого в Америке украшения женщины – пышного бюста – он тоже высказывался. Трясучее вымя млекопитающих вырожденков – это еще самое мягкое. И лишь только он представит своего Кики прильнувшим к такому вымени – ревет, как раненый зверь. Хорошо, что ты пришел. Тебе к катастрофам не привыкать. Надо отвести его в номер. Не оставлять же его здесь в таком виде. Поможешь мне? А то он весит больше центнера.

Мы пошли в угол к пальмам.

– Да вернется он, Рауль! – начал Мойков увещающим тоном. – Возьмите себя в руки! Завтра все наладится. Кики к вам вернется.

– Оскверненный! – прорычал Рауль, возлежавший на подушках, словно подстреленный бегемот.

Мы попытались его приподнять. Он уперся в мраморный столик и заверещал. Мойков продолжал его уговаривать:

– Ну оступился, с кем не бывает, Рауль? Это же простительно. И он вернется. Я такое уже сколько раз видывал. Кики вернется. Вернется, полный раскаянья.

– И оскверненный, как свинья! А письмо, которое он мне написал?! Эта паскуда никогда не вернется! И мои золотые часы прихватил!

Рауль снова взвыл. Пока мы его поднимали, он успел отдавить мне ногу. Всей своей стокилограммовой тушей.

– Да осторожнее, старая вы баба! – чертыхнулся я, не подумав.

– Что?

– Ну да, – сказал я, тут же остыв. – Вы ведете себя, как плаксивая старая перечница.

– Это я старая баба? – переспросил Рауль, от неожиданности заговорив более или менее человеческим голосом.

– Господин Зоммер имел в виду совсем другое, – попытался успокоить его Мойков. – Он плохо говорит по-английски. По-французски это звучит совсем иначе. Это большой комплимент.

Рауль отер глаза. Мы с тревогой ждали нового припадка истерики.

– Это я-то баба? – уронил он неожиданно тихим и глубоко оскорбленным голосом. – Это мне сказать такое!

– Он во французском смысле, – продолжал импровизировать Мойков. – Там это большая честь! Une femme fatale!²³

– Вот так и остаешься один, – произнес Рауль трагическим голосом, поднимаясь без всякой посторонней помощи. – Покинутый всеми!

Мы без труда довели его до лестницы.

– Несколько часов сна, – увещевал Мойков. – Две таблетки секонала, можно и три. А завтра утром крепкий кофе. Сами увидите, все будет выглядеть совсем иначе.

Рауль не отвечал. Мы тоже его покинули. Весь мир его бросил! Мойков повел Рауля вверх по лестнице.

– Завтра все будет проще! Кики ведь не умер. Просто юношеское заблуждение.

– Для меня он умер! Мои запонки он тоже забрал!

– Да вы ведь сами их ему подарили! На день рождения. К тому же он в них вернется.

– И что ты так возишься с этим жирным боровом? – спросил я Мойкова, когда тот вернулся.

– Он наш лучший постоялец. Ты его апартаменты видал? Если он съедет, нам придется поднять цены на остальные номера. И на твой тоже.

– Боже правый!

– Боров там или ангел небесный, только каждый страдает, как умеет, – заметил Мойков. – В горе нет знаков различия. И смешного тоже ничего нет. Уж тебе-то пора бы это знать.

– Да я знаю, – сказал я пристыженно. – Хотя различия все-таки есть.

– Это все относительно. У нас тут была горничная, так она в Гудзоне утопилась только из-за того, что сын стибрил у нее несколько долларов. Она не могла пережить такого позора. Может, скажешь, и это смешно?

²³ Роковая женщина! (фр.)

– И да, и нет. Не будем спорить.

Устремив глаза к потолку, Мойков напряженно прислушался.

– Хоть бы он ничего над собой не учинил, – пробормотал он. – У этих экстремистов по жизни короткие замыкания случаются гораздо чаще, чем у нормальных людей.

– Горничная, та, что утопилась в Гудзоне, тоже была экстремисткой?

– Она была просто несчастной бедной женщиной. Ей казалось, что у нее нет выхода, – хотя ей были открыты все пути. Как насчет партии в шахматы?

– С удовольствием. Но сначала давай-ка выпьем по рюмке водки. Или по две. А то и больше, если захотим. Продай мне бутылку. Сегодня я хочу заплатить.

– С чего это вдруг?

– Я работу нашел. Месяца на два.

– Отлично! – Мойков прислушался, глядя на дверь.

– Лахман, – сказал я. – Такую походку ни с чем не спутаешь.

Мойков вздохнул.

– Не знаю, может, это все от луны, но сегодня, похоже, у нас вечер экстремистов.

После Рауля Лахман казался скорее почти спокойным.

– Садись, – приказал я. – Ничего не говори, выпей рюмку водки и думай об изречении: «Бог кроется в деталях».

– Что?

Я повторил изречение.

– Чушь какая! – фыркнул Лахман.

– Ладно. Тогда вот тебе другое: «Будем отважны, раз уж нам не дано умереть». Благодаря Раулю все эмоции здесь на сегодня растрчены.

– Я не пью водку. Я вообще не пью, пора бы тебе запомнить. Ты еще в Пуатье хотел напоить меня бутылкой вишневого ликера, которую ты где-то украл. По счастью, мой желудок вовремя взбунтовался, иначе я наверняка угодил бы в жандармерию. – Лахман обратился к Мойкову: – Она вернулась?

– Нет. Пока нет. Только Зоммер и Рауль. Оба взвинчены до предела. По-моему, сегодня полнолуние.

– Что?

– Полнолуние. Давление повышает. Иллюзии окрыляет. Убийц и маньяков воодушевляет.

– Владимир, – простонал Лахман. – С наступлением темноты шуточки насчет других лучше бы оставлять при себе. У людей в эту пору своих забот хватает! А больше никого не было?

– Только Мария Фиола. Пробыла ровно час и двенадцать минут. Выпила рюмку водки, потом еще полрюмки. Попрощалась и укатила в аэропорт. Вернется из вояжа дня через два. Поехала на показы одежды и съемки. Достаточно ли информации для агента безнадежной любви, господин Лахман?

Лахман убито кивнул.

– Я как чума, – пробормотал он. – Я знаю. Но для себя-то я даже хуже чумы!

Мойков прислушался, глядя наверх.

– Схожу-ка я на всякий случай взглянуть на Рауля.

С этими словами он встал и направился вверх по лестнице. Для человека его возраста и комплекции у Мойкова была на редкость легкая походка.

– Что мне делать? – вздохнул Лахман. – Ночью опять видел свой сон. Всегдашний мой кошмар. Будто меня кастрируют. Эсэсовцы в своем кабачке. Причем не ножом, а ножницами!

Я проснулся от собственного крика. Может, это тоже из-за полнолуния? Я имею в виду – что ножницами.

– Забудь, – сказал я. – Эсэсовцам не удалось тебя кастрировать, и это очень заметно.

– Заметно, говоришь? Конечно, заметно! У меня на всю жизнь шок остался. К тому же отчасти им это все же удалось! У меня раны и тяжкие телесные повреждения. Перелом вон ужасный. Женщины надо мной смеются. А нет ничего ужаснее в жизни, чем смех женщины при виде твоей наготы. Этого забыть нельзя! Потому я и гоняюсь за женщинами, у которых у самих физические недостатки. Неужели не понятно?

Я кивнул. Всю эту историю я знал наизусть – он мне ее рассказывал уже раз двадцать. Я даже не стал спрашивать его, чем кончилось дело с лурдской алкогольной водичей. Слишком уж он нервный сегодня.

– Сейчас-то тебе здесь что надо? – спросил я Лахмана.

– Они собирались сюда зайти. Что-нибудь выпить. Сейчас, наверное, в кино пошли, лишь бы от меня отделаться. Обед я им оплатил.

– На твоём месте я бы не стал их ждать. Пусть сами тебя дожидаются.

– Ты считаешь? Да, вероятно, ты прав. Только трудно это. Если бы не клятое одиночество!

– Неужели твоя работа никак тебя не выручает? Ты же торгуешь четками, иконками, общаешься с кучей всякого богобоязненного народа. Да и вообще – неужто к этому делу никак нельзя подключить Бога?

– Ты с ума сошел! Он-то чем тут поможет?

– Мог бы облегчить тебе смирение. Бога выдумали, чтобы люди не восставали против несправедливости.

– Ты это всерьез?

– Нет. Но в нашем шатком положении можно позволить себе лишь минимум твердых принципов. Надо хвататься за любую соломинку.

– Какие вы все чертовски надменные, – сказал Лахман. – Прямо диву даюсь. Что у тебя с работой?

– Завтра с утра начинаю у одного антиквара: разборка и каталогизация.

– За твердое жалованье?

Я кивнул.

– Ну и зря! – сказал Лахман, мгновенно оживляясь; он обрадовался возможности дать поучительный совет. – Переключайся на торговлю. Сантиметр торговли лучше, чем метр работы.

– Я учту.

– Только тот, кто боится жизни, мечтает о твердом жалованье, – колко заметил Лахман. Поразительно, до чего быстро этот человек умел переходить от уныния к агрессии. «Еще один экстремист», – подумал я.

– Ты прав, я боюсь жизни, прямо верчусь от страха, как псина от блох, – заметил я миролюбиво. – Благодаря этому страху только и живу. Что против этого твой маленький сексуальный страх? Так что радуйся!

По лестнице уже спускался Мойков.

– Спит, – объявил он торжественно. – Три таблетки секонала все-таки подействовали.

– Секонал? – оживился Лахман. – А для меня не осталось?

Мойков кивнул и вынул пачку снотворного:

– Двух вам хватит?

– Почему двух? Раулю вы дали три, почему же мне только две?

– Рауль потерял Кики. Можно сказать, вдвойне потерял. Сразу на два фронта. А у вас еще остается надежда.

Лахман явно собрался возразить – такого преуменьшения своих страданий он допустить не мог.

– Исчезни, – сказал я ему. – При полнолунии таблетки действуют с удвоенной силой.

Лахман, ковыляя, удалился.

– Надо было мне аптекарем стать, – задумчиво изрек Мойков.

Мы начали новую партию.

– А Мария Фиола правда была здесь сегодня вечером? – спросил я.

Мойков кивнул.

– Хотела отпраздновать свое освобождение от немецкого ига. Городок в Италии, где она родилась, заняли американцы. Раньше там немцы стояли. Так что она тебе уже не подневольная союзница, а новоиспеченная врагиня. В этом качестве просила передать тебе привет. И, по моему, сожалела, что не может сделать этого лично.

– Боже ее упаси! – возразил я. – Я приму от нее объявление войны, только если на ней будет диадема Марии Антуанетты.

Мойков усмехнулся.

– Но тебя, Людвиг, ждет еще один удар. Деревушку, в которой я родился, русские на днях тоже освободили от немцев. Так что и я из вынужденного союзника превращаюсь в твоего вынужденного неприятеля. Даже не знаю, как ты это переживешь.

– Тяжело. Сколько же раз на твоём веку этак менялась твоя национальность?

– Раз десять. И все недобровольно. Чех, поляк, австриец, русский, опять чех и так далее. Сам-то я этих перемен, конечно, не замечал. И боюсь, эта еще далеко не последняя. Тебе, кстати, шах и мат. Что-то плоховато ты сегодня играешь.

– Да я никогда хорошо не играл. К тому же у тебя, Владимир, солидная фора в пятнадцать лет эмиграции и одиннадцать смененных родин. Включая Америку.

– А вот и графиня пожаловала. – Мойков встал. – Полнолуние никому спать не дает.

Сегодня к старомодному, под горло закрытому кружевному платью графиня надела еще и боа из перьев. В таком наряде она напоминала старую, облезлую райскую птицу. Ее маленькое, очень белое личико было подернуто мелкой сеткой тончайших морщин.

– Ваше сердечное, графиня? – спросил Мойков с невероятной галантностью в голосе.

– Благодарю вас, Владимир Иванович. Может, лучше секонал?

– Вам угодно секоналу?

– Не могу заснуть. Да вы же знаете, тоска и мигрень замучили, – посетовала старушка. – А тут еще эта луна! Как над Царским Селом. Бедный царь!

– А это господин Зоммер, – представил меня Мойков.

Графиня милостиво скользнула по мне взглядом. Она явно меня не узнала.

– Тоже беженец? – спросила она.

– Беженец, – подтвердил Мойков.

Она вздохнула.

– Мы вечные беженцы, сначала от жизни, потом от смерти. – В глазах у нее вдруг блеснули слезы. – Дайте мне сердечного, Владимир Иванович! Но только совсем немножко. И две таблетки секонала. – Она повела птичьей головкой. – Жизнь – необъяснимая вещь. Когда я еще была молоденькой девушкой, в Санкт-Петербурге, врачи махнули на меня рукой. Туберкулез. Бездарный случай. Они давали мне от силы два-три дня, не больше. А что теперь? Их всех давно уж нет – ни врачей, ни царя, ни красавцев офицеров! И только я все живу, и живу, и живу!

Она встала. Мойков проводил ее до дверей, потом вернулся.

– Выдал ей секонал? – спросил я.

– Конечно. И бутылку водки. Она уже пьяна. А ты даже и не заметил, верно? Старая школа, – сказал Мойков с уважением. – Этот божий одуванчик по бутылке в день высасывает. А ведь ей за девяносто! У нее ничего не осталось, кроме призрачных воспоминаний о призрачной жизни, которую она оплакивает. Только в ее старой голове эта жизнь еще и существует. Сначала она жила в «Ритце». Потом в «Амбассадоре». Потом в русском пансионе. Теперь вот у нас. Каждый год она продает по одному камню. Сперва это были бриллианты. Потом рубины. Потом сапфиры. С каждым годом камни становились все меньше. Сейчас их почти не осталось.

– А секонал у тебя еще есть? – поинтересовался я.

Мойков посмотрел на меня изучающим взглядом.

– И ты туда же?

– На всякий случай, – успокоил я его. – Все-таки полнолуние. Это только про запас. Наперед никогда не знаешь. Снам ведь не прикажешь. А мне завтра рано вставать. На работу.

Мойков помотал головой.

– Просто поразительно, до чего человек в своей гордыне заносчив, ты не находишь? Вот скажи, ты плачущего зверя когда-нибудь видел?

VIII

Уже две недели я работал у Силвера. Подвал под магазином оказался огромным, лабиринт его помещений уходил далеко под улицу. В нем было множество ответвлений и тупиков, битком набитых всяческим старьем. Включая даже допотопные детские коляски, подвешенные под самым потолком. Силверам все это барахло в свое время досталось по наследству, и они несколько раз даже предпринимали слабые попытки как-то его упорядочить и каталогизировать, но вскоре от этой затеи отказались. Не для того же, в конце концов, они бросили адвокатское ремесло, чтобы сменить его на жалкий удел сортировщиков и учетчиков в катакомбах. Если есть в подвале что-нибудь ценное, то с годами оно станет только еще ценней – так решили они и отправились пить кофе. Ибо к своим обязанностям бонвиванов Силверы относились всерьез.

Рано поутру я исчезал в катакомбах, точно крот, и обычно появлялся на поверхности лишь к обеду. Подвал был скудно освещен лишь несколькими тусклыми лампочками. Он напоминал мне о моих брюссельских временах, и поначалу я даже слегка побаивался, не слишком ли назойливым будет напоминание; потом, однако, решил помаленьку и осознанно привыкать, тем самым постепенно изживая в себе болезненный комплекс. Мне уже не однажды в жизни случалось проделывать над собой подобные эксперименты, превозмогая непереносимые воспоминания сознательным привыканием к чему-то сходному, но не столь непереносимому.

Силверы часто приходили меня навещать. Для этого им нужно было спуститься в подвал по приставной лестнице. В тусклом электрическом свете сперва появлялись лакированные штиблеты, фиолетовые епископские носки и клетчатые штаны Александра Силвера, затем лакированные штиблеты, шелковые носки и черные брюки его брата Арнольда. Оба были любопытны и общительны. И приходили вовсе не для того, чтобы меня контролировать. Просто им хотелось поболтать.

Мало-помалу я притерпелся к темным сводам катакомб и к шуму грузовиков и легковушек над головой. К тому же мне постепенно удалось разгородить некоторые участки свободного пространства. Часть вещей оказалась таким барахлом, что его и хранить-то не стоило. Тут были и поломанные кухонные табуретки, и две никуда не годные драные кушетки стандартного фабричного производства. Подобный хлам Силверы просто выставляли к ночи на улицу, а рано утром его забирала бригада городских мусорщиков.

Однажды, уже после нескольких дней работы в подвале, под грудой ветхих, не имеющих почти никакой ценности фабричных ковров я вдруг обнаружил два молитвенных ковра, один

с изображением голубого, другой – зеленого михраба²⁴. И это были не современные копии, а оригиналы, каждому лет по сто пятьдесят, и оба в хорошей сохранности. Гордый, как терьер с добычей, я вытащил их наверх.

В магазине восседала помпезная дама, вся увешанная золотыми цепями.

– А вот и наш эксперт, сударыня, – глазом не моргнув сказал Силвер, едва заметив меня. – Месье Зоммер, из Парижа, прямо из Лувра. Предпочитает говорить по-французски. Что вы скажете об этом столике, господин Зоммер?

– Превосходный Людовик Пятнадцатый. Дивная чистота линий. И сохранность отменная. Редкая вещь, – отрапортовал я с сильным французским прононсом. А затем, для пушного эффекта, еще раз повторил все то же самое по-французски.

– Слишком дорого, – решительно заявила дама, брякнув цепями.

– Но позвольте, – слегка опешил Силвер. – Я вам пока что и цены-то не называл.

– Не важно. Все равно слишком дорого.

– Хорошо, – согласился Силвер, мгновенно обретая присутствие духа. – В таком случае, сударыня, назначьте цену сами.

Теперь настал черед дамы слегка опешить. Поколебавшись немного, она спросила:

– А это сколько стоит? – и ткнула в ковер с зеленой нишей.

– Ему нет цены, – ответил Силвер. – Это фамильная реликвия, перешедшая мне по наследству от матушки. Она не продается.

Дама рассмеялась.

– Реликвия – тот, что зеленый, – встрял я. – А вон тот, голубой, это моя собственность. Я принес показать его господину Силверу. Если он его купит, у него будет пара к зеленому. Это повышает стоимость обоих ковров процентов на двадцать.

– У вас что, вообще ничего купить нельзя? – ехидно поинтересовалась дама.

– Отчего же? Столик и все прочее, что на вас смотрит, – смиренно ответил Силвер.

– И зеленый ковер тоже?

Загвоздка с коврами состояла в том, что Силвер явно не знал, что это вообще такое, а я понятия не имел, сколько они могут стоить в долларах. И у нас не было никакой возможности сговориться. Дама в цепях восседала между нами и пристально следила за каждым нашим движением.

– Так и быть, – решился наконец Силвер. – Только для вас – и зеленый ковер.

Дама хмыкнула.

– Так я и думала. И сколько же?

– Восемьсот долларов.

– Слишком дорого, – изрекла дама.

– Похоже, это ваше любимое присловье, сударыня. Сколько бы вы хотели заплатить?

– Нисколько, – отрезала дама, вставая. – Просто хотела послушать, что вы еще придумаете. Одно надувательство!

Бряца цепями, дама направилась к выходу. По пути она опрокинула голландский светильник и даже не подумала его поднять. Силвер поднял его сам.

– Вы замужем, милостивая государыня? – спросил он вкрадчиво.

– А вам-то какое дело?

– Никакого. Просто мы, мой коллега и я, сегодня вечером включим вашего достойного всяческого сочувствия супруга в нашу ночную молитву. По-английски и по-французски.

– Эта больше не придет, – сказал я. – Разве что с полицией.

Силвер отмахнулся.

²⁴ Михраб – молитвенная ниша в стене мечети, обращенная к Мекке; украшается орнаментальной резьбой, инкрустацией, росписью.

– Зря я, что ли, столько лет был адвокатом? А купить эта корова все равно ничего не купила бы. Такие стервы разгуливают по городу тысячами. Им скучно, вот они и не дают жизни продавцам. Главным образом в магазинах одежды и обуви: сидят часами, примеряют без конца и ничего не покупают. – Он перевел взгляд на ковры. – Так что там у нас с фамильной реликвией моей матушки?

– Это молитвенный ковер, начало девятнадцатого века, быть может, даже конец восемнадцатого. Малая Азия. Очень миленькие вещицы. Считаются полуантиком. Настоящий антик – шестнадцатое и семнадцатое столетия. Но таких молитвенных ковров очень мало. И они обычно персидские.

– Сколько же, по-вашему, они должны стоить?

– До войны в Париже у торговцев коврами цена была около пятисот долларов.

– За пару?

– За штуку.

– Черт побери! Вам не кажется, что было бы неплохо это отметить чашечкой кофе?

Мы начали переправу через улицу, причем Силвер – с такой самоуверенной удалью, что немедленно принудил к остановке заверещавший всеми тормозами «форд», водитель которого осыпал его целым градом нелестных эпитетов. «Баран безмозглый» было из них самым мягким. Силвер с ослепительной улыбкой помахал ему вслед.

– Так, – сказал Силвер, – теперь мое самолюбие удовлетворено. А то эта стерва изрядно его потрепала. – Поймав мой недоуменный взгляд, он пояснил: – К сожалению, я очень вспылываю. Этот водитель имел полное право меня обругать, а стерва – никакого. Теперь все уравновесилось, внутренний покой восстановлен. Как насчет круассана к кофе?

– С удовольствием.

Я не вполне оценил логику Силверовых рассуждений, но был готов оценить круассан. Голодные годы войны и эмиграции пробили во мне ненасытимую брешь – я могу есть в любое время суток и что угодно. Вот и во время долгих пеших прогулок по Нью-Йорку я то и дело замирал перед витринами продовольственных магазинов, самозабвенно глядя на выставленные в них яства – огромные окорока, деликатесы, торты.

Силвер извлек из кармана бумажник.

– Сделка с вазой состоялась, – заявил он тоном триумфатора. – Я получил телеграмму из музея. Они берут бронзу обратно. И платят больше, чем мы предполагали. А того эксперта уже заменили. И не по нашей вине. Он успел совершить еще несколько промахов. Вот ваша доля. – Силвер положил две стодолларовых купюры возле моей тарелочки с круассаном. – Вы довольны?

Я кивнул.

– А что с авансом? – спросил я. – Я его должен вам вернуть из этих денег или вычтете из моего жалованья?

Силвер рассмеялся.

– Мы квиты. Вы заработали триста долларов.

– Только двести пятьдесят, – не согласился я. – Пятьдесят я сам заплатил.

– Верно. И если мы продадим ковры, вы тоже получите премию. Мы люди, а не автоматы по загребанию денег. Автоматами мы были раньше. Правильно я говорю?

– Правильно. Даже очень. Вы вдвойне человек, господин Силвер.

– Еще круассан?

– С удовольствием. Они восхитительны, но очень маленькие.

– Замечательно здесь, правда? – радовался Силвер. – Я об этом мечтал всю жизнь: хорошее кафе рядом с работой. – Он устремил взгляд поверх потока машин на противоположную сторону улицы: нет ли у нас покупателей. И сразу стал похож на отважного и деловитого воро-

бья, высматривающего пропитание прямо под конскими копытами. Внезапно он издал глубокий вздох. – Все бы хорошо, если бы не эта безумная идея моего братца.

– Что за идея?

– У него есть подруга. Шикса. Так представляете, он вздумал на ней жениться! Трагедия! Нам всем тогда крышка!

– Шикса? Что такое шикса?

Силвер воззрился на меня с изумлением.

– Вы и этого не знаете? И вы еврей? Ах да, вы же агностик. Так вот, шикса – это христианка. Христианка с вытравленными перекисью лохмами, глазами селедки и пастью о сорока восьми зубьях, каждый из которых наточен на наши кровью и потом скопленные доллары. Это не блондинка, а гиена крашенная, обе ноги кривые и обе правые!

Мне понадобилось некоторое время, чтобы уяснить себе этот образ.

– Бедная моя матушка, – продолжал Силвер. – Да она в гробу перевернулась бы, если бы ее восемь лет назад не сожгли. В крематории.

Я с трудом поспевал за скачками его мысли. Однако последнее слово оглушило меня, как гром набата. Я отодвинул тарелку. Все вокруг вдруг заполнил тошнотворный сладковатый запах, который я слишком хорошо знал.

– В крематории? – переспросил я.

– Да. Здесь это самое простое. И, кстати, самое чистое. Она была набожная иудейка, еще в Польше родилась. Вы же знаете...

– Знаю, – резко оборвал я его. – И что же ваш брат? Почему ему нельзя жениться?

– Только не на шиксе! – Силвер кипел от возмущения. – Да в Нью-Йорке порядочных еврейских девушек больше, чем в Палестине! Здесь треть жителей евреи! Чтобы уж тут-то не найти? Где еще, как не здесь? Так нет же, вбил себе в голову! Это все равно что в Иерусалиме жениться на Брунгильде.

Я выслушал этот взрыв возмущения молча, поостерегшись указать Силверу на парадокс обратного антисемитизма, скрытый в его словах. С такими вещами не шутят, тут даже тень иронии неуместна.

Силвер пришел в себя.

– Я вообще-то не собирался вам об этом говорить, – сказал он. – Не знаю, способны ли вы понять, какая тут трагедия.

– Боюсь, не вполне. В моем понимании трагедия – это что-то связанное со смертью. А не со свадьбой. Но я очень примитивная натура.

Он кивнул. И даже не усмехнулся.

– Мы набожные евреи, – снова попытался он объяснить. – Мы не вступаем в брак с людьми другой веры. Так требует наша религия. – Он посмотрел на меня. – Вас наверняка воспитали вне религии, верно?

Я покачал головой. Я все время забывал, что он считает меня евреем.

– Атеист, – сказал он. – Вольнодумец! Неужто и вправду?

Я задумался.

– Я атеист, который верит в Бога, – ответил я наконец. – По ночам.

Людвиг Зоммер, под чьим именем я теперь жил, в Париже работал реставратором картин на одного антиквара-француза. Но и сам понемногу приторговывал антиквариатом. Одно время я трудился у него носильщиком: у Зоммера было слабое сердце, он и сам-то еле ходил. Он специализировался по старинным коврам и разбирался в этом деле лучше, чем большинство музейных директоров. Он брал меня с собой в походы к сомнительного вида туркам, продавцам ковров, и объяснял всевозможные уловки, с помощью которых ковровщики подделывают свои ковры под старину, и как эти уловки можно раскусить. Хитрости оказались при-

мерно такие же, как с китайской бронзой: надо было досконально знать и уметь сравнивать виды ткани, цвета, а также узоры орнамента. Копиисты подлинных старинных ковров сплошь и рядом совершали одну и ту же ошибку, исправляя многочисленные неправильности древнего орнамента. Но как раз эти неправильности и есть верная примета их подлинности: не бывает старинных ковров, совершенно одинаковых на все четыре стороны. По верованиям ковровых дел мастеров, эти мелкие погрешности отводили несчастье, они-то и вдыхали жизнь в древний рисунок. В поддельных коврах, напротив, как правило, чувствуется какая-то натужность, в них нет свободы. У Зоммера имелась целая коллекция ковровых лоскутов, по ней он растолковывал мне различия. По воскресеньям мы ходили в музеи, изучали там ковры-шедевры. Почти идиллическое было время, едва ли не лучшее за все годы моего изгнания. Но оно продлилось недолго. Всего одно лето. Тогда-то я и обучился всему, что теперь знал о коврах, в том числе о двух найденных в подвале.

То был последний год жизни Зоммера. Он это знал и не обманывался иллюзиями. Знал он и то, что реставрирует картины для отъявленного мошенника, который выдает их за неизвестные полотна знаменитых мастеров, но не растрачивал по данному поводу никаких эмоций, даже иронии. У него просто не было на это времени. Он столько пережил и перенес столько утрат, но остался при этом до того рассудителен, что изгнал из этих последних месяцев своей жизни всякое чувство горечи. Он был первым, кто пытался приучить меня знать меру в спорах с судьбой, чтобы не сгореть до срока. Я так этому и не научился, как не научился и другому: лелеять в себе месть, отложив отмщение в долгий ящик.

Это было странное, почти неправдоподобное лето. Большей частью мы сидели на острове Сен-Луи, где у Зоммера была мастерская. Он любил просто так, молча, посидеть у Сены, глядя на бездонное, все в барашках облаков, небо, поблескивающую на солнце рябь реки, арки мостов и снующие под ними буксиры. В последние недели он был весь уже как бы по ту сторону слов. Слова были беспомощны перед тем, что ему предстояло покинуть, да и не хотел он высказывать никакого сожаления или иных сантиментов. Вот оно, небо, а вот твоё дыхание, вот глаза, а вот жизнь, которая от тебя ускользает и разлуке с которой ты можешь противопоставить только одно – легкую, почти бездумную веселость, благодарение, почти исчерпавшее себя, и собранность человека, который на пороге небытия встречает подступившую кончину с широко раскрытыми глазами, без судороги ужаса, стремясь в тихой сосредоточенности боли и ухода, прежде чем когти агонии вцепятся тебе в глотку, не упустить ни единого мига жизни.

Зоммер был мастером сослагательных сравнений. Этаким меланхолический эмигрантский юмор по принципу «все могло быть гораздо хуже». В Германии можно было не только потерять все своё состояние, но и угодить за решетку; там тебя могли не только подвергнуть пыткам, но и замучить непосильной работой в лагере; и не только замучить непосильной работой в лагере, но и отдать на растерзание эсэсовским врачам для их экспериментов и медленной вивисекции; и так далее до самой смерти, которая тоже была возможна как минимум в двух разновидностях: либо тебя сожгут, либо бросят истлевать в массовой могиле.

– У меня мог бы быть рак желудка, – рассуждал Зоммер, – и плюс к тому рак гортани. Или я мог ослепнуть. – Он улыбнулся. – Столько возможностей! А сердце – такая чистая болезнь! Лазурь! Ты посмотри на эту лазурь! Какое небо! Лазурь старинных ковров!

Я тогда его не понимал. Слишком был сосредоточен на своих мыслях о несправедливости и отмщении. Но было в нем что-то бесконечно трогательное. Покуда он был в силах, мы ходили с ним по церквям и музеям и сидели там. Это испытанные убежища эмигрантов – полиция туда не заглядывала. Лувр, Музей декоративных искусств, музей Жё-де-Пом²⁵, где импрессионисты, и Нотр-Дам стали родным домом для эмигрантского содружества наций. Они дарили

²⁵ Jeu de Paume (буквально «игра ладонью», старофранцузское название тенниса) – один из выставочных залов Лувра, где прежде размещалось собрание импрессионистов; позднее собрание переместили в Музей д'Орсэ.

безопасность, утешение, а заодно расширяли духовный кругозор. И церкви тоже – но только, пожалуй, не по части Господней справедливости. На этот счет у нас были большие сомнения. Зато по части искусства – безусловно.

Эти летние предвечерья в светлых залах музея с полотнами импрессионистов по стенам! Это блаженство оазиса среди бесчеловечных бурь! Часами сидели мы перед картинами в музейной тиши, я и рядом со мной умирающий Зоммер, сидели, молчали, а картины были окнами, распахнутыми в бесконечность. Они были лучшим из всего, что создано людьми, среди худшего из всего, на что люди оказались способны.

– Или меня могли заживо сжечь в лагере уничтожения в стране Гёте и Гёльдерлина, – медленно и блаженно произнес Зоммер немного погодя. – Забирай мой паспорт, – сказал он затем. – И живи с ним.

– Ты его можешь продать, – возразил я.

Я уже слышал, что кто-то из эмигрантов, оказавшись совсем без бумаг, в отчаянии предлагал Зоммеру за его паспорт тысячу двести швейцарских франков, безумные деньги, на которые Зоммера можно было даже положить в больницу. Но Зоммер не захотел. Он захотел умереть на острове Сен-Луи в своей мастерской, пропахшей олифой, рядом со своей коллекцией ковровых лоскутов. Бывший профессор Гутгенхайм, в прошлом медицинское светило, торговавший ныне носками вразнос, был его лечащим врачом, и вряд ли бы Зоммер где-нибудь сыскал лучшего.

– Забирай паспорт, – сказал Зоммер. – По нему еще приличный кусок жизни можно прожить. А это тебе кусочек смерти в довесок. – Он сунул мне в ладонь маленькую металлическую коробочку вроде ладанки на тонкой цепочке. Внутри в слое ваты лежала капсула с цианистым калием. Как и некоторые другие эмигранты, Зоммер всегда носил ее при себе – на тот случай, если попадет в лапы гестаповцам; он знал, что не выдержит пыток, и хотел иметь возможность умереть тотчас же.

А умер во сне. Мне он завещал всю свою одежду, несколько литографий и коллекцию ковровых лоскутов, которую я вынужден был продать, чтобы выручить деньги на погребение. Сохранил я и капсулу с ядом, и паспорт. Зоммера похоронили под моим именем. А еще я сохранил один маленький ковровый лоскут – кусочек бордюра с уголком голубой михрабной ниши, такой же голубой, как августовское небо над Парижем и как ковер, что я нашел у Силвера. Капсулу я еще долго таскал с собой и выбросил в воду лишь в тот день, когда мы прибыли на остров Эллис. Хотел избавить себя от лишних расспросов таможенников. С паспортом Зоммера я в первые недели чувствовал себя довольно странно – словно покойник в отпуску. Потом понемногу привык.

* * *

Роберт Хирш и во второй раз отказался взять у меня деньги, которые я ему задолжал.

– Но пойми, ведь я купаюсь в деньгах! – кипятился я. – К тому же у меня гарантированная работа в подполье еще как минимум на полтора месяца.

– Расплатись сперва с адвокатами, с господами Левиным и Уотсоном, – твердил Хирш. – Это важно. Они тебе еще понадобятся. Долги друзьям плати в последнюю очередь. Друзья могут подождать. «Ланский катехизис», параграф четвертый!

Я рассмеялся.

– Ты все путаешь! В катехизисе как раз наоборот сказано. Сперва друзья, потом все остальные.

– А это исправленное, улучшенное и дополненное Нью-Йоркское издание. Для тебя сейчас самое главное – вид на жительство. Или ты хочешь угодить в американский лагерь для интернированных? Их хватает – и в Калифорнии, и во Флориде. В Калифорнии для японцев,

во Флориде для немцев. Тебе очень хочется, чтобы тебя засунули в лагерь к соотечественникам-нацистам?

Я покачал головой.

– А что, могут?

– Могут. В подозрительных случаях. А чтобы попасть под подозрение, многого не нужно. Сомнительного паспорта более чем достаточно, Людвиг. Или ты забыл древнюю мудрость: попасть в лапы закона легко, выбраться почти невозможно?

– Да нет, не забыл, – ответил я, внутренне поежившись.

– Или ты хочешь, чтобы тебя там в лагере забили до смерти? Нацисты, которых там подавляющее большинство?

– Разве лагеря не охраняются?

Хирш горько улыбнулся.

– Людвиг! Ты же сам прекрасно знаешь, что в лагере на несколько сотен заключенных ночью ты абсолютно беззащитен. Придет «дух святой», устроят тебе темную и измелят до полусмерти, даже синяков не оставив. Если не что похуже. Кому интересно расследовать какое-то лагерное самоубийство, пусть даже мнимое, когда каждый день тысячи американцев гибнут в Европе?

– А комендант?

Хирш только рукой махнул.

– Комендантами в этих лагерях обычно назначают старых отставных вояк, которые ничего, кроме покоя, от жизни уже не хотят. Нацисты с их дергающимся строевым шагом, замиранием по стойке «смирно» и вообще военной выправкой нравятся им, в сущности, куда больше, чем наша сомнительная публика с ее постоянными жалобами на притеснения. Да ты же сам знаешь.

– Знаю, – отозвался я.

– Государство – оно государство и есть, – продолжил Хирш. – Здесь нас не преследуют. Здесь нас просто терпят. Уже прогресс! Но упаси тебя Бог от легкомыслия! И никогда не забывай, что мы здесь люди второго сорта. – Он достал свое розовое эмигрантское удостоверение. – Вражеские иностранцы. Люди второго сорта.

– А когда война кончится?

Хирш усмехнулся.

– Даже став американцем, ты останешься здесь человеком второго сорта. Тебе никогда не быть президентом. И где бы ты ни оказался, если у тебя кончается срок паспорта, тебе придется возвращаться в Америку его продлевать. В отличие от тех, кто американцем родился. Где, спрашивается, взять столько денег? – Он достал из-под прилавка бутылку коньяка. – Все, шабаш! – объявил он. – Сегодня я свое отработал. Продам четыре приемника, два пылесоса и один тостер. Плохо. Не создан я для этого дела.

– Тогда для какого?

– Хочешь верь, хочешь нет – я хотел стать юристом. И это в Германии! В стране, где высший и главный закон всегда гласит одно и то же: право – это то, что во благо государству. В стране радостного попрания любых конституционных параграфов. Но с этой мечтой покончено. Что еще? Во что вообще остается верить людям, Людвиг?

Я передернул плечами.

– Не могу я так далеко вперед заглядывать.

Он посмотрел на меня.

– Счастливый ты человек.

– Это чем же?

Он мягко улыбнулся.

– Да хотя бы тем, что счастья своего не ведаешь.

– Ну хорошо, Роберт, – ответил я нетерпеливо. – Человек – единственное живое существо, которое осознает, что оно должно умереть. Что ему дало это знание?

– Он изобрел религию.

– Правильно. А вместе с религиями – нетерпимость. Только его религия истинно верная, остальные нет.

– Ну да, а как следствие – войны. Самые кровопролитные всегда велись как раз именем Бога. Даже Гитлер без этого не обошелся.

Мы подавали друг другу реплики, как во время литании. Хирш вдруг рассмеялся.

– А помнишь, как мы в курятнике под Ланом в такой же вот литании упражнялись, чтобы в отчаяние не впадать? И лакировали коньяк сырыми яйцами? Знаешь, по-моему, ни на что стоящее мы уже не годимся. Так и останемся эмигрантским перекаати-полем, цыганами. Чуть грустными, чуть циничными и в глубине души отчаявшимися цыганами. Тебе не кажется?

– Нет, – ответил я. – Так далеко вперед я тоже не могу загадывать.

За окном опускалась душная летняя ночь; здесь, в магазине, работало воздушное охлаждение. Компрессор тихо жужжал, и от этого почему-то казалось, что мы с Хиршем на корабле. Некоторое время мы молчали. В прохладном, искусственном воздухе и коньяк пился не так вкусно. В нем почти не чувствовалось аромата.

– Тебе сны снятся? – спросил наконец Хирш. – О прошлом?

Я кивнул.

– Чаще, чем в Европе?

Я снова кивнул.

– Остерегайся воспоминаний, – сказал Хирш. – Здесь они опасней. Гораздо опаснее, чем там.

– Знаю, – согласился я. – Только снам разве прикажешь?

Хирш встал.

– Опасны как раз потому, что здесь мы в относительной безопасности. Там-то мы постоянно были начеку и не давали себе расслабиться. А здесь появляется беспечность.

– А Бэр в Париже? А Рут? А Гутман в Ницце? Здесь нет закономерности, – возразил я. – Но следить за собой надо.

– Вот и я о том же. – Хирш зажег свет. – В субботу наш меценат Танненбаум устраивает скромный прием. Спросил, не могу ли я привести тебя. К восьми.

– Хорошо, – согласился я. – У него в квартире такое же воздушное охлаждение, как здесь у тебя?

Хирш рассмеялся.

– У него в квартире все есть. Что, в Нью-Йорке жарче, чем в Париже, верно?

– Тропики! И душно, как в парилке.

– Зато зимой стужа, как на Аляске. А наш брат, разнесчастный торговец электротоварами, только за счет этих перепадов и выживает.

– Я представлял себе тропики совсем иначе.

Хирш внимательно посмотрел на меня.

– А вдруг, – проговорил он, – вдруг эти наши с тобой посиделки когда-нибудь покажутся нам лучшими минутами всей нашей горемычной жизни?

У себя в гостинице я застал необычную картину. Плюшевый будуар был празднично освещен. В углу возле пальмы и цветов в горшках стоял большой стол, за которым собралось весьма пестрое и оживленное общество. Верховодил всем Рауль. В бежевом костюме он огромной, влажно поблескивающей жабой восседал во главе стола. К немалому моему изумлению, стол был даже накрыт белой скатертью, а гостей обслуживал официант, которого я прежде никогда здесь не видел. Рядом с Раулем сидел Мойков, напротив них Лахман возле своей пассивной-пуэр-

ториканки. Разумеется, и мексиканец был здесь же – в розовом галстуке, с неустанно шныряющими глазами и каменным лицом. Помимо них две девицы неопределенного возраста, от тридцати до сорока, испанского вида, темноволосые, смуглые, яркие, молодой человек с завитыми локонами и неожиданно низким басом, хотя напрашивалось скорее сопрано, графиня в неизменных серых кружевах и, по другую руку от Мойкова, Мария Фиола.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.